



*Лев*

# ДУРОВ

*Странные  
мы люди*



## Annotation

Книга «Странные мы люди» Льва Дурова — своего рода продолжение его знаменитых «Грешных записок». Автор делится воспоминаниями о своей театральной и кинодеятельности, рассказывает (а он великолепный рассказчик!) много любопытных и смешных историй о своих друзьях и коллегах.

---

- [Лев Дуров](#)
    - [АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН И ДР.](#)
    - [ЛИЦА ДРУЗЕЙ](#)
    - [СТРАННЫЕ ЛЮДИ](#)
    - [СИЛА ИСКУССТВА](#)
    - [ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ](#)
-

## **Лев Дуров**

### **Странные мы люди**

*Шекспировские клоуны, у которых так много юмора, мне симпатичны, но у них есть злобные черты, из-за чего они отдаляются от Бога. Я ценю шутки, так как я Божий клоун. Но я считаю, что клоун идеален, только если он выражает любовь, иначе он не является для меня Божьим клоуном.*

*Вацлав Нижинский. «Дневник».*

## **АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН И ДР.**

С Пушкиным я знаком давно и до сих пор общаюсь с ним постоянно. Он для меня Радость и Надежда, Утешение и Вера, Любовь и Вдохновение. Господи, да разве скажешь об этом лучше, чем Аполлон Григорьев: «Пушкин — это наше все!»

Я люблю открыть его томик на любой странице (ведь это так просто!), чтобы снова и снова, будто заново, перечитать давно знакомые строчки. Вот и на этот раз я наугад открыл книжку и не мог не улыбнуться, слушая рассказ Александра Сергеевича о своем лицейском товарище бароне Антоне Дельвиге:

«Дельви́г звал однажды Рылеева к девкам. „Я женат“, — отвечал Рылеев. „Так что же, — сказал Дельви́г, — разве ты не можешь отобедать в ресторации потому только, что у тебя дома есть кухня?“

Ну конечно же, это замечательные «Застольные беседы (Table-talk)»! В сноске издатели поясняли, что «пачка отдельных листков, объединенная в обложке под этим названием, заведена А. С. Пушкиным в 1830-е годы. Большую часть пачки составляют записки исторических анекдотов, а также критические заметки».

Я заново перечитал эти «Беседы» и невольно сравнил «исторические анекдоты» Пушкина с «историческими анекдотами» нашего времени. Александр Сергеевич даже в этом жанре нигде не позволил себе опуститься до вульгарных колкостей и несдержанного злоязычия. Он и здесь остался верен своим святым принципам человеколюбия: пробуждать «чувства добрые», призывать «милость к падшим».

Отношение же к своим персонажам нынешних сочинителей «исторических анекдотов» напоминает мне старое русское пожелание: «Вот тебе помои, умойся; вот тебе онучики, утрися; вот тебе лопата, помолися; вот тебе кирпич, подавися!» Не только снисхождения к человеческим слабостям, но даже ни одного доброго слова в адрес исторических личностей в современных анекдотах вы не найдете, хоть перелопатьте всю свою память — убогая галерея уродливых карикатур. Да ведь и то: «Сон разума порождает чудовищ».

Но это так, к слову — невольная ассоциация, которая сама напросилась. Я ведь — о пушкинских «Беседах», которые попались мне под руку. В них встречаются имена и довольно известных исторических личностей — Екатерины II, Потемкина, Суворова, Багратиона, Крылова и др., и имена уже полузабытых литераторов и государственных деятелей — Надеждина, Погодина, Милонова, Будри, Самойлова...

Не обошел своим вниманием Александр Сергеевич и моего далекого предка. И не только не обошел, но даже посвятил ему не две строки и не двадцать, как остальным, а целых две страницы и снабдил этот «анекдот» заголовком, чего не удостоились другие истории. Не могу не привести его полностью по нескольким причинам.

Во-первых, очень сомневаюсь, что многие читали эти «Застольные беседы», и своим цитированием я заполню у них в какой-то мере этот пробел.

Во-вторых, упомянув короткий «анекдот» о Дельвиге, хочу привести и совершенно другой по своему характеру, чтобы читатель сам смог сравнить их и понять, что же Пушкин имел в виду, когда называл свои заметки «историческими анекдотами».

И наконец, в-третьих, хотелось бы напомнить читателям, что чирей ни с того ни с сего не вскочит: вон

еще двести лет назад в моем роду были артистические натуры. Да еще какие, если на них обратил внимание сам Александр Сергеевич Пушкин!

Итак, слово нашему Гению:

#### «О ДУРОВЕ

Дуров — брат той Дуровой, которая в 1807 году вошла в военную службу, заслужила Георгиевский крест и теперь издает свои записки. Брат в своем роде не уступает в странности сестре. Я познакомился с ним на Кавказе в 1829 г., возвращаясь из Арзрума. Он лечился от какой-то удивительной болезни, вроде каталепсии, и играл с утра до ночи в карты. Наконец он проигрался, и я довез его до Москвы в своей коляске. Дуров помешан был на одном пункте: ему непременно хотелось иметь сто тысяч рублей.

Всевозможные способы достать их были им придуманы и передуманы.

Иногда ночью в дороге он будил меня вопросом: «Александр Сергеевич! Александр Сергеевич! Как бы, думаете вы, достать мне сто тысяч?» Однажды сказал я ему, что на его месте, если уж сто тысяч были необходимы для моего спокойствия и благополучия, то я бы их украл. «Я об этом думал», — отвечал мне Дуров. «Ну что ж?» — «Мудрено, не у всякого в кармане можно найти сто тысяч, а резать или обокрасть человека за безделицу не хочу: у меня есть совесть». — «Ну так украдите полковую казну». — «Я об этом думал». — «Что же?» — «Это можно бы сделать летом, когда полк в лагере, а фура с казною стоит у палатки полкового командира. Можно накинуть на дышло длинную веревку и припрячь издали

лошадь, а там на ней и ускакать; часовой, увидя, что фура скачет без лошадей, вероятно, напугается и не будет знать, что делать; в двух или трех верстах можно будет разбить фуру, а с казною бежать. Но тут много также неудобства. Не знаете ли вы иного способа?» — «Просите денег у государя». — «Я об этом думал». — «Что же?» — «Я даже и просил». — «Как! безо всякого права?» — «Я с того и начал: ваше Величество! я никакого права не имею просить у вас то, что составило бы счастье моей жизни; но, ваше Величество, на милость образца нет, и так далее». — «Что же вам отвечали?» — «Ничего». — «Это удивительно. Вы бы обратились к Ротшильду». — «Я об этом думал». — «Что ж, за чем дело стало?» — «Да видите ли: один способ выманить у Ротшильда сто тысяч было бы так странно и так забавно написать ему просьбу, чтоб ему было весело, потом рассказать анекдот, который стоил бы ста тысяч. Но сколько трудностей...» Словом, нельзя было придумать несообразности и нелепости, о которой бы Дуров уже не подумал. Последний прожект его был выманить деньги у англичан, подстрекнув их народное честолюбие и в надежде на их любовь к странностям. Он хотел обратиться к ним с следующим speech: «Г.г. англичане! я бился об заклад об 10 000 рублей, что вы не откажете мне дать займы 100 000. Г.г. англичане! избавьте меня от проигрыша, на который навязался я в надежде на ваше всему миру известное великодушие». Дуров просил меня похлопотать об этом в Петербурге через английского посланника, а свой прожект высказал мне не иначе как взяв с меня честное слово не воспользоваться им. Он

готов был всегда биться об заклад, и о чем бы то ни было. Говорили ли о женщине, — «Хотите со мной биться об заклад, — прерывал Дуров, — что через три дня я буду ее иметь?» Стреляли в цель из пистолета, — Дуров предлагал стать в 25 шагах и бился о 1 000 р., что вы в него не попадете. Страсть его к женщинам была также очень замечательна. Бывши городничим в Елабуге, влюбился он в одну рыжую бабу, осужденную к кнуту, в ту самую минуту, когда она была уже привязана к столбу, а он по должности своей присутствовал при ее казни. Он шепнул палачу, чтоб он ее поберег и не трогал ее прелестей, белых и жирных, что и было исполнено; после чего Дуров жил несколько дней с прекрасной каторжницей. Недавно я получил от него письмо, он пишет мне: «История моя коротка: я женился, а денег все нет». Я отвечал ему: «Жалею, что из 100 000 способов достать 100 000 рублей ни один еще, видно, вам не удался».

Да, у предка Дурова не хватило фантазии изыскать хотя бы один способ достать деньги. Зато сама его мысль о быстром и легком обогащении не осталась втуне и подвигла некоторых его земляков на творческие поиски. И они не могли не венчаться успехом.

После того как Пушкин увез в своей коляске незадачливого приятеля в Москву, в Елабуге объявился некий хлебосольный поручик. Он жил в одном доме, но на разных этажах с генералом — командиром полка, расквартированного в этом старом провинциальном городе. Поручик, не в пример своему генералу, не стеснял себя в удовольствиях: что ни день, то приемы,



балы, попойки. День переходил в ночь, и только под утро гости с шумом и гамом разъезжались по домам.

В конце концов генерал заинтересовался, откуда у поручика такие огромные деньги — ведь на все эти приемы нужны немалые суммы. И вот как-то генерал встречает поручика у подъезда и говорит:

— Поручик, вот я генерал, а не имею возможности устраивать приемы, подобные вашим. У вас что — большое имение? Вы получаете с него большие доходы?

— Нет, ваше превосходительство, — отвечает поручик, — никакого имения у меня нет.

— Может, родители оставили вам богатое наследство, которое вы с такой легкостью решили прокутить?

— Увы, ваше превосходительство, никакого наследства у меня нет.

— Но каким же образом вы изыскиваете средства? — удивился генерал.

— Вы знаете, — ответил поручик, — я спорю, заключаю пари.

— Но ведь это смешно! — не поверил генерал. — Пари — это пятьдесят на пятьдесят! У вас с партнером равные шансы на выигрыш и проигрыш.

— Нет, ваше превосходительство, вы знаете, я все время выигрываю.

— Но такого не может быть! Это же риск! — горячился генерал и наконец решил рискнуть. — Ну хорошо, поручик, — поспорьте со мной.

— К вашим услугам, — согласился поручик. — Но вы уж извините, я, может быть, буду где-то резок и даже в чем-то бестактен. Ничего?

— Пожалуйста, — согласился генерал.

— Хорошо, — сказал поручик. — Вот давайте поспорим на две тысячи рублей, что в среду у вас на одном месте вскочит чирей. -

Генерал пожал плечами:

— Но ведь это чушь!

— Вот вы уже и проиграли.

— Но мы еще не заключали пари!

— Хорошо, — согласился поручик, — давайте заключим пари. — И они заключили пари на две тысячи рублей. В среду поручик явился к генералу.

— Как вы себя чувствуете, ваше превосходительство?

— Прекрасно! — воскликнул генерал, сел на стул и попрыгал на нем. — Видите? Никакого чирья!

— Простите, — улыбнулся поручик, — но я должен лично в этом убедиться. Не могли бы вы...

— С удовольствием! — генерал понял, что хотел поручик, снял штаны и показал поручику свою задницу. — Чиста, как у ребенка.

Поручик осмотрел одну ягодицу, перешел на другую сторону и смущенно попросил:

— Ваше превосходительство, не могли бы вы поближе подойти к окну — здесь ничего не видно.

Генерал в предвкушении выигрыша, забыв об осторожности, подошел к подоконнику и чуть ли не выставил свой зад наружу...

— Прошу.

Поручик опять все внимательно осмотрел и горестно вздохнул:

— Я проиграл, ваше превосходительство, — и со значением добавил: — Вам!

— А кому же еще? — усмехнулся генерал, натягивая штаны.

— Видите ли, ваше превосходительство, на такую же сумму я поспорил с каждым из офицеров нашего полка, что покажу им вашу задницу.

Генерал в ужасе бросился к окну и увидел, как от подъезда медленно расходятся офицеры его полка.

Вот такие «исторические анекдоты», скорее напоминающие характерные зарисовки и моего

мечтательного предка, и оригинального поручика. И какое отношение имеют эти зарисовки к рассказу о Дельвиге, который приглашал Рылеева к девкам? Что общего между этими «анекдотами» и теми, в которых речь идет, скажем, о Суворове или Екатерине II? И я подумал: а зачем Пушкину нужно было вообще собирать эти такие разные истории под одной обложкой с общим названием? Что их может объединять?

Я не пушкинист и понятия не имею, что думают по этому поводу специалисты, но, по моему глубокому убеждению, Пушкин хотел создать мозаичную картину своей эпохи через характеры современников. Как художник из разноцветных кусочков смальты разной величины создает цельную художественную картину, так и Пушкин, думаю, из отдельных характеров хотел создать нравственный портрет своей эпохи.

Первую мозаичную картину подобного рода выложил почти две тысячи лет назад римский писатель Клавдий Элиан. Но его «Пестрые рассказы» были посвящены только людям значительным и довольно известным. Поэтому картина современного ему мира получилась несколько помпезной, парадной, такие было принято вывешивать в чопорных гостиных. Герои «Рассказов» — великие полководцы древности, многоумные философы, писатели — учили своим примером мужеству, благородству, достоинству, гражданской добродетели.

К сожалению, не могу процитировать ни один из его «рассказов»: их у меня давным-давно красиво «увел» кто-то из ценителей древностей. Поэтому если я в чем-то ошибусь, пересказывая один из его рассказов, не упрекайте меня — главную его мысль я уж никак исказить не мог.

Итак, повествует Элиан, прогуливаясь однажды по Риму, Цезарь увидел лачугу своего старого легионера и решил зайти к нему в гости. Улицезрев великого

полководца, хозяйка так растерялась, что, подавая на стол бобы, полила их вместо оливкового масла деревянным. Легионер чуть не поперхнулся, а Цезарь, не прекращая беседы, спокойно съел свои бобы и, прощаясь, горячо поблагодарил хозяйку за отличное блюдо.

Всё! Никаких комментариев. Да и нужны ли они? Автор ведь писал не для умственно ущербных людей.

Со времен Элиана прошло чуть ли не двадцать столетий. И вот почти одновременно выходят в нашем отечестве две книги: Владимира Солоухина «Камешки на ладони» и Виктора Астафьева «Затеси», напоминающие по своему жанру и «Пестрые рассказы», и «Застольные беседы». Уж и не знаю, кто им дал творческий толчок к написанию таких книг — Элиан или Пушкин. Да это и не столь важно. В конце концов, они и сами могли дойти до этой мысли. Ведь у каждого писателя, как известно, за годы скапливается в столах столько литературного «мусора», что он становится уже обременительным. Выбросить? «Оно бы и очень можно, да никак нельзя», — как говаривал Владимир Даль.

И вот когда автор начинает перебирать все эти записки на обрывках бумаги, на ресторанных салфетках, на разодранных сигаретных пачках, то вдруг обнаруживает, что перед ним драгоценные кусочки смальты, которые не нуждаются ни в какой обработке, их нужно просто наклеить на некую основу, и мы увидим не приукрашенную гримом физиономию эпохи. Такой, какая она есть на самом деле. С прыщами, может быть, небритую и с сизым носом. А может, это будет образ красавицы с широко распахнутыми голубыми глазами, которые смотрят на мир с детским простодушием. Кто знает — это уж как камешки лягут. А может, зритель и сам расположит их по своему усмотрению, так, как и что ему захочется видеть.

И тут у меня родилась идея. Я никогда не вел дневники и не поверял бумаге свои мудрые мысли и глубокомысленные изречения. Я их забрасывал в темный чулан, который находится у меня под черепной коробкой, и по мере надобности, конечно, если мог найти, вытаскивал на свет божий. Потери я не замечал. Да и как можно заметить потерю того, о чем не помнишь! С годами эти потери я стал ощущать. Я почувствовал, что в той мозаичной картине мира, которую я себе представлял, не хватает каких-то кусочков смальты и образуются «белые пятна», которые не заполнить никаким воображением, как бы сильно оно ни было развито.

И вот тогда я подумал: каждый человек создает свою картину мира, которая не похожа ни на одну другую. Это может быть натюрморт с персиками, а может быть и «Гибель Помпеи». Но одна без другой существовать просто не могут — это нарушит ту гармонию, которая и держит все сущее в устойчивом равновесии.

И я с присущей мне скромностью («Я негодяй, но вас предупреждали!») решил, пока не поздно, пока еще не растеряны все кусочки смальты, внести свою лепту в дело сохранения мирового равновесия и вывесить свою картину в галерее, в которой уже заняли свои места Элиан и Пушкин, Солоухин и Астафьев. Авось она поможет избежать мировых катастроф.

А благодарности за это я у человечества не прошу — лишь бы всем было хорошо и все жили счастливо.

Вацлаву Нижинскому не нравились в шекспировских клоунах «злые черты», которые отдаляют их от Бога. Сам себя великий танцовщик называл Божьим клоуном. В Англии меня называли трагическим клоуном. А это амплуа по своему характеру может вызвать лишь сострадание, сопереживание, но никак не отвращение. Поэтому в своем портрете времени я постараюсь

избегать те краски, которые могли бы придать ему «злобные черты».

«Нельзя объять необъятное», — говаривал незабвенный Козьма Прутков. Я всегда помню эту мудрую мысль. Но такова уж человеческая натура — все-то она берет под сомнение. Вот и аз грешный усомнился: а так ли уж она постоянна, эта человеческая натура? А что, если сравнить век нынешний и век минувший? Изменились ли люди? И если изменились, то в лучшую или худшую сторону? Давайте понаблюдаем вместе.

Ехал я как-то в поезде; и одна ситуация напомнила мне дореволюционный анекдот, когда-то читанный в старой-престарой книжице. Дело было тоже в поезде, и в купе сидели муж с женой и кучей ребятишек, которые разбаловались. Один пассажир, к которому двенадцатилетний отпрыск прыгнул на колени, не выдержал и обратился к родителям: урезоньте, мол, своего парня. А отец как-то интеллигентно ответил, что, мол, дети есть дети, к тому же сегодня воскресенье и почему бы им не побаловаться. На что пассажир сказал: «Чтобы ребенок веселился в воскресенье, по будням его надо пороть, что вы, наверное, не делаете». Это была, конечно, шутка.

А теперь представьте себе этот диалог в наше время. Если бы двенадцатилетний парень полез по коленям дяди к окну и ему бы сделали замечание, что бы он услышал? «Да ладно! Сиди, козел! Что тебе, ребенок помешал?» — «Как вы со мной разговариваете?» — «А как мне с тобой, козлом, разговаривать? Пойдем-ка выйдем в тамбур, там поговорим! „ — «Да пошел ты на! .. по! ..“ — «Чево-о?! « И уже, не стесняясь ни детей, ни пассажиров, пошло бы такое! ..

Так что, думаю, нравы диктуют и тональность таких диалогов. Все становится страшнее, грубее и грубее.

Страшно, на самом деле, как мы падаем...

Я вот смотрю на старинные фотографии и думаю: нет, все-таки лица другие. Не только лица аристократов, офицеров. Вот я увидел фотографию своего дядьки времен империалистической войны. Боже мой, какое лицо, какая выправка, как он стоит, какое выражение глаз! Красивый офицерский мундир, красивое оружие — все просто замечательно! А вот солдаты идут на фронт — изумительные лица! Никакого сравнения с нынешними типажам.

Но это так, к слову. Я ведь об анекдотах. Я вначале как-то стеснялся и слушать их, и рассказывать. Потом понял, что зря. Вот у Юрия Никулина был кладезь анекдотов. По ним можно было проследить всю историю нашей страны, международные отношения, они давали емкие и точные характеристики историческим личностям, в них можно было найти тонкие и остроумные замечания о личности в себе и о личности в обществе. Ведь человек, в сущности, переживает не одну жизнь, а несколько.

Взять хотя бы мою профессию. Зритель видит лишь ту жизнь актера, которую он играет или на экране, или на сцене. Но ведь мы и сами показываем не свою жизнь, а жизнь своего героя. А потом мы уходим за кулисы, где уже совсем иная жизнь: отношения между актерами, сплетни, байки, воспоминания, приколы. И эта закулисная жизнь не менее интересна, чем сценическая. И наверняка у человека есть еще и третья, и четвертая жизни. И еще какая-то настолько тайная, что он до конца дней своих носит ее в себе, не посвящая в нее даже самых близких людей.

Господи, вот к чему могут привести размышления о, казалось бы, незначительном анекдоте, шутке. И я решил найти первоисточник. Не сразу, но — нашел!

Сто раз я уже успел забыть эту книгу: твердая обложка цвета египетской мумии с размытыми пятнами,

будто кто-то плакал над ней. Пожелтевшие странички с жеманным текстом, пестрящим «ятями». Еще бы! Ведь ей, старушке, исполнился ровно век с тех пор, как она родилась в С.-Петербурге и попала на склад некоего книгопродавца И. Иванова, обретающегося на Литейном. Тираж не указан, и потому я не могу с уверенностью утверждать, что являюсь обладателем единственного экземпляра этого уникального издания, уцелевшего после двух мировых войн. Может, ему и цены нет.

Называется книга «Современники», а вместо фамилии автора набрано: ИНКОГНИТО. В кратком предисловии этот Инкогнито сразу предупреждает: «Это — анекдоты!» И через несколько абзацев выдает мысль, за которую я сразу ухватился, ибо она легла во взрыхленную почву: «Говорят, что по анекдотам изучают характер века и нравы общества».

Мысль не первой свежести — ей полторы тысячи лет, если считать со времен Прокопия Кесарийского, к «Тайной истории» которого впервые применили в литературе термин анекдот, что с греческого переводится как неизданный. Сейчас, когда сборники анекдотов выходят десятками, это звучит, конечно, смешно. Но что делать! Идет время, слова ветшают, а то и вовсе меняют свое знаковое значение. Да и сам Инкогнито оговаривается: «Наши анекдоты — маленькия безпретензионныя картинки, а иногда даже каррикатуры. Они написаны штрихами и, как любят выражаться нынешние зоилы, „протокольным способом“».

Но каким бы способом они ни были написаны, факт остается фактом: если по ним и не создашь «характер века», то уж о «нравах общества» можно судить смело, хотя автор и ограничивается узким кругом творческих людей: писателей, художников, композиторов, но



главным образом — актеров, антрепренеров, режиссеров.

Открываю первую страницу:

«Д. В. АВЕРКИЕВ

На одной из репетиций трагедии Д. В. Аверкиева участвовавший в ней актер Брянцев читал свои монологи в стихах простым разговорным языком. Автору, следившему за постановкой своего детища, это не понравилось, и он заметил:

— Так прежде не говорили».

В свою очередь Брянцеву не понравилось это замечание, и он, не задумываясь, ответил:

— Да ведь так прежде и не писали.

Такую дерзость по отношению к именитому писателю, издавшему шесть томов своих сочинений, не каждый актер мог себе позволить. Еще большую дерзость позволил себе некий редактор, упрекнувший великого русского писателя в безграмотности. Инкогнито рассказывает в главке «Граф Л. Н. Толстой»:

«В Москве в дружеской беседе с молодыми беллетристами граф Лев Николаевич начал как-то упрекать их в нежелании работать...

— Ничего вы не делаете, ничего не пишете, нигде не видно ваших работ... Изленились совсем, — говорил он.

Беллетристы сначала отмалчивались, а затем один из них прямо сказал:

— И пишем, Лев Николаевич, и работаем, да нас нигде не печатают — не берут...

— Как не берут? — изумился граф. — Ведь вы, А., несомненно, талантливый человек, и вы, Б., и вы, В.

— Все мы талантливы по вашему мнению, Лев Николаевич, — отвечали ему, — а нынешние редакторы

изданий этого не находят.

Граф не хотел верить возможности такого грустного явления в печати, как полное отсутствие критического анализа у редакторов, и решил проверить его сам...

Для этой цели он написал небольшой рассказ и послал его в редакцию какого-то журнальчика, подписавшись вымышленным псевдонимом...

Недели через две граф лично отправился узнать участь своего произведения...

Редактор принял его довольно сухо и с первых же слов сообщил, что рассказ напечатан не будет.

— Почему? — спросил Лев Николаевич.

— А потому, — отвечал редактор, — что все написанное вами свидетельствует о полнейшем отсутствии у вас не только малейшего беллетристического таланта, но даже простой грамотности... Признаюсь, любезнейший, — добавил он фамильярно, — когда я читал присланную вами ерунду, то был вполне уверен, что это написано совершенно «зеленым» юношей, а про вас это никаким образом сказать нельзя. Нет, уж вы лучше это бумагомарание бросьте — начинать в ваши лета поздно. Ведь вы раньше ничего не писали?

— Писал...

— Вот как! Что же вы писали? Признаться, писателя, носящего вашу фамилию, я не слыхал.

Редактор совершенно бесцеремонно расхохотался прямо в лицо графу.

Тот отвечал ему спокойным тоном:

— Под присланным к вам рассказом я подписался псевдонимом. Вы, может быть, слыхали мою настоящую фамилию: я Толстой. Написал несколько вещичек, о которых прежде отзывались с некоторым одобрением, например «Войну и мир», «Анну Каренину»...

Можете себе представить, что сделалось с редактором после такого ответа».

Ну, наши редакторы куда образованнее и гуманнее! Мне рассказывали о проходимце, который не поленился перепечатать на машинке роман Константина Седых «Даурия» и предложил его под другим названием, но под своей фамилией одному московскому издательству. Редактору роман понравился, и его заслали в набор. И уже в типографии один начитанный наборщик смутился: текст он узнал сразу, а вот почему у него другие и автор и название, понять никак не мог. Выяснили. Злые языки утверждали, что после этого редактора и наборщика поменяли местами. Не знаю.

Да, я забыл упомянуть, что у книги этого Инкогнито есть подзаголовок: «Анекдотические черты из жизни общественных деятелей настоящего», то есть столетней давности. И вот у меня родилась идея — сравнить «век нынешний и век минувший»: изменились ли за это время «нравы общества» и чем отличаются «характеры» смежных эпох? И отличаются ли вообще?

Но чтобы читатель не мог упрекнуть меня в пристрастии, я должен тоже предоставить ему возможность судить вместе со мной. А поскольку, как я уже говорил, книга Инкогнито у меня уникальная, я должен процитировать из нее хотя бы несколько особо характерных, на мой взгляд, «анекдотов».

Начну с семейственности — все-таки, как ни говори, а своя рубаха ближе к телу. В книге автор рассказывает несколько историй, связанных с моими прапрадедами — Анатолием и Владимиром Дуровыми. Постараюсь быть поскромнее и приведу лишь один «анекдот», касающийся взаимоотношений Анатолия Леонидовича и, как сейчас говорят, СМИ.

Надо сказать, что мой предок, гастролируя со своими животными по разным городам России, часто вступал в конфликт с местными властями за свои слишком смелые шутки в их адрес.

В Москве у него случилось «недоразумение» с одной из газет. Вот как рассказывает о нем Инкогнито:

«Началось оно с пустяков.

Сын редактора, веселого нрава молодой человек, задумал однажды над ним посмеяться.

В то время когда Дуров стоял у входа на арену, приготавливаясь к своему номеру, он с насмешливой улыбкой подошел к нему, окруженный приятелями-пшютами, и спросил:

— Пользуетесь успехом, господин клоун?

— Как видите.

— А правда ли, скажите, пожалуйста, чтобы пользоваться на цирковой арене успехом, нужно иметь непременно глупую физиономию?

— Правда, — ответил Дуров без смущения. Компания захохотала. Победа юного остряка казалась очевидной, но каково было их поражение, когда Дуров после минутной паузы, доставив им удовольствие досыта насмеяться, прибавил:

— И если бы я обладал такой физиономией, как ваша, мой успех был бы еще обеспеченнее.

Компания замолкла и поспешила исчезнуть.

Однако это для Дурова не прошло даром. На следующий же день в газете его папеньки появилась рецензия, наполненная энергичными выражениями. Дурова разносили вовсю. Чего только не было сказано по его адресу! И бездарность-то он, и нахал, и грубиян... В продолжение двух месяцев шла эта систематическая травля, потешавшая, в конце концов, одного только владельца газеты, так как для публики был слишком заметен пристрастный тон этих репортерских заметок, развенчивающих его в ничто. Дуров долгое время терпел несправедливые нападки, но наконец не выдержал своего угнетения и показал зубы.

В один прекрасный вечер, когда «сам» редактор сидел в одной из ближайших к барьеру лож и с

презрительной миной смотрел на его упражнения, Дуров выпустил на арену свою чушку и заставил незаметно для публики стать передними ногами на барьер как раз против старого редактора. Потом стал отзывать ее, но так, что она не трогалась с места:

— Чушка! Чушка! Назад! Иди сюда! — Она оставалась неподвижной.

— Иди же, говорю я тебе! Не хочешь? — То же самое.

— А, понимаю! Старых знакомых увидела! На своих насмотреться не можешь!

Публика поняла этот «воплъ огорченной души» и без умолка хохотала над его рискованной проделкой, которая повлекла за собою появление на другой день громовой статьи.

Травля усилилась. Для этой газеты Дуров сделался чуть ли не единственной злобой дня.

Дуров начал полемизировать с арены.

Так к своему бенефису он приготовил злую шутку над враждебной газетой. Он знал, что ее владелец непременно посетит его торжество, чтобы иметь возможность лишний раз поиздеваться над ним, и поэтому не в счет программы придумал он «свинью-читатель ницу».

Разгуливавшей на арене чушке он вынес целую кипу разных газет. Она уселась в свое кресло, а Дуров стал подносить ей одну за другой газеты. Она с негодованием отворачивалась от них и презрительно хрюкала.

— Ишь ты, — заметил клоун, — она не всякую газету любит, а ищет свою... Ищи, ищи! Интересно посмотреть на вашу свинскую газету...

Сначала зрители думали, что свинья вообще не терпит гласности, но к ее глазам Дуров приблизил то издание, в котором не выносили хладнокровно его имени, она радостно захрюкала, завертела хвостом и,

уткнувшись носом в газету, с визгом заводила им по строкам.

Клоун отомстил. Это был последний залп полемической перестрелки. Газета стала его замалчивать, а он о ней никогда не вспомнил».

Не правда ли, что и мы можем вспомнить немало «свинских» газет и журналов нашего времени? А впрочем, что это я лезу со своими комментариями! Мой принцип — сама беспристрастность! А посему надергаю еще несколько «анекдотов» из книги таинственного Инкогнито и прощусь с дорогим читателем до встречи с веком нынешним, за которым, увы, уже опустился занавес. Там вместе и посмотрим, что мы приобрели, а что потеряли. Ведь не в духовной же спячке мы находились целый век! Итак, с Богом!

«М. Г. ЯРОН

Актер Н. С. Стружкин, автор многих популярных стихотворений, был очень высокого мнения о своем сценическом даровании.

Сошлась как-то компания. Зашла речь о псевдонимах. Стружкин заявил, что он потому избрал себе этот псевдоним, чтобы напомнить Щепкина:

— Я, конечно, не Щепкин, я несколько меньше его, но довольно близок к нему и потому избрал ближайшее к «щепке» подходящее слово «стружка», и отсюда мой псевдоним.

П. М. Медведев на это заметил:

— Если вы имели в виду Щепкина, то максимум, на что вы имели право, — это на Опилкина, но никак не на Стружкина.

А находившийся тут же Марк Григорьевич Ярон, остряк и экспромтист, продекламировал четверостишие:

Вы сценой сильно увлекались,  
Но все ж таланты измельчали:  
Где прежде Щепкины блистали,  
Там только Стружкины остались.

«В. М. ДАЛЬСКИЙ

Во время управления В. А. Крылова драматической сценой Виктор Мамонтович Дальский укорял за кулисами Александринского театра одного из товарищей Н. Н.:

— Совершенно напрасно кичишься ты либерализмом. Ты трус и фразер.

— Ты меня мало знаешь! Наоборот, я очень смел и «грызусь» со всеми.

— Вздор! Какой же ты либерал, ежели для бенефиса все-таки пьесу Крылова берешь?!»

«Вас. И. НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО

В бытность свою за границею Немирович-Данченко случайно наткнулся «на собственное противоречие».

— Что это за цветок? — спросил он, поднося к носу цветок.

— Анемон...

— Гм... совсем не пахнет!

— Анемон никогда не пахнет.

— Странно, а у меня в одном стихотворении сказано: «и анемон, благоухая...»

«О. В. НЕКРАСОВА-КОЛЧИНСКАЯ

В сезон 1897-1898 гг. на сцене Малого театра пользовалась выдающимся успехом пьеса М. Н. Бухарина «Измаил». Изобилующая внешними эффектами, она производила впечатление и делала отличные сборы.

Интриганку Софию Девет играла Ольга Васильевна Некрасова-Колчинская. В ее роли попадает фраза: «По приказанию Суворова! « Речь идет о фельдмаршале Суворове. Но в день первого представления, дойдя до этой фразы, она с пафосом произносит:

— По приказанию Суворина!

Добродушный хохот всего театра был ответом оговорившейся артистке. Это было тем более смешно, что все зрители отлично знали, какое значение имеет за кулисами Малого театра почтенный издатель «Нового времени» А. С. Суворин».

Вот, пожалуй, и достаточно для того, чтобы иметь возможность сравнить век нынешний с веком минувшим. Правда, в моих «анекдотах» круг действующих лиц более широк, так как на определенном этапе развития нашего общества искусство, как известно, стало принадлежать народу. И мы, люди искусства, слились с народом в едином порыве... Это историческое обстоятельство дало мне перед Инкогнито немалую фору. За что я и остаюсь благодарен этому самому обстоятельству.

Моя книга, в сущности, представляет собой все же мозаичный портрет времени. Каждый волен добавить к этому портрету свои камешки, и тогда он, портрет, изменится до неузнаваемости, так, что даже автор не узнает родное дитя. Но я человек не гордый — пожалуйста, бросайте свои камешки или на картину, или в автора, как вам удобнее. Я не обижусь. Честное слово. В доказательство своей искренности предлагаю даже подсказку, которая может подвигнуть любителей на сотворчество:

«На море на киане, на острове на Буяне стоит бык печеный: в заду чеснок толченый, с одного боку-то



режь, а с другого макай да ешь!»  
Просто? Тогда Бог вам в помощь.

## **ЛИЦА ДРУЗЕЙ**

Замечательный русский писатель Виктор Астафьев как-то сказал: «Чтобы изобразить героя, нужно изобразить его время». Перефразируя эту справедливую мысль, можно сказать и так: «Чтобы изобразить время, нужно показать современника, живущего в нем», потому что он не только продукт своего времени, но и творец его.

Я не стал долго ломать голову над тем, кого же из современников мне следует показать. Конечно же, тех из них, которых знал и знаю не только я, но и миллионы читателей и зрителей страны, для которых они стали близкими друзьями. Это не творческие портреты и уж тем более не биографии — всего лишь характерные штрихи к образам наших с вами современников. Одних я писал анфас, других в профиль, давая возможность читателю самому дорисовать портрет.

Как сказал когда-то веселый эпиграммист о поэте Николае Доризо: «Потомки дорисуют, видно, Недорисованный портрет».

Оставим же и мы часть работы на долю потомков.

### ***Юрий Никулин***

Это произошло накануне очередных майских праздников. Мне позвонили из Президиума Верховного Совета и сказали, что меня наградили орденом Трудового Красного Знамени. А когда мне что-то преподносят, я тонко, как большой интеллигент, шучу. И я говорю:

— Наконец-то вы созрели в Верховном Совете! А я-то уж давно был готов к этому! Во всех пиджаках дырок наковырял! А вы все там никак не мычите не телитесь.

Так тонко, интеллигентно шучу.

На другом конце провода похихикали над моей шуткой и говорят:

— В среду к десяти утра просим прибыть. И, будьте добры, без опозданий.

Я, конечно, как дурак, с утра шею вымыл, галстук нацепил и к десяти утра подъезжаю к этому мраморному зданию. Там часовые.

— Здрасьте, Дуров, вы чего?

Стало быть, узнали.

— Здрасьте, — говорю. — Мне тут позвонили... — и объясняю, что к чему.

А они говорят:

— Сегодня не наградной день.

— Как не наградной? Мне сказали, к десяти утра! — Тут они тоже занервничали, как и я.

— Сейчас, — говорят, — мы позвоним, куда надо, и все выясним.

Они ушли куда-то, приходят и говорят:

— Мы позвонили в секретариат. Вы знаете, ни в одном наградном листе вашей фамилии нет.

Я спускаюсь по ступенькам, выхожу на улицу, гляжу — машина. А облокотясь на нее, стоит довольный Юра Никулин и говорит:

— Приехал все-таки, дурачок!

И я, невзирая на флаг на здании, на мрамор, сказал все, что о нем думаю. Все слова-то лефортовские еще не забыл.

— Кто звонил? — спрашиваю.

— Я, — говорит. — Кто же еще?

— Не стыдно?

— А тебе? — спрашивает. — Поверил, как маленький. Ну здравствуй, мальчик.

И мы обнялись.

Ладно, думаю, больше я на такой крючок не попадусь. Проходит несколько дней, и меня приглашают в дирекцию театра. Там мне вручают шикарный конверт — весь в штемпелях и печатях. Вскрываю и вижу отпечатанное на машинке письмо на английском языке. Нашел переводчика, и тот мне перевел, что фирма «Парамаунт» приглашает меня в фильм «Пятеро». И что из советских артистов предлагают сниматься еще господину Никулину. С американской стороны участвуют Пол Ньюмен и еще какой-то популярный артист. Я сразу все понял и позвонил Никулину.

— Владимирыч, — сказал ему, — больше ты меня не купишь. Кончай свои розыгрыши.

— Ты о чем? — спрашивает.

— О письме из Голливуда.

— Значит, ты тоже получил? — радуется Никулин. — И мне прислали. Не веришь? Сейчас я к тебе Макса с этим письмом пришлю.

Приезжает его сынишка и передает мне точно такой же конверт, в котором лежит письмо с переводом. В нем сказано, что господину Никулину предлагают роль в фильме «Пятеро» и что из советских артистов предлагают еще роль господину Дурову и т.д. Звоню Никулину.

— Юра, — говорю, — извини. А я думал, ты разыгрываешь. Ну что ж, поедем, научим их, как надо работать.

Проходит неделя, никто не интересуется моими связями с США, и министерство культуры молчит. Звоню Никулину.

— Владимирыч, — говорю, — ты чего-нибудь получал еще оттуда?

— Нет.

— Тогда, — говорю, — ну их к черту! А то дома уже все волнуются, когда дед поедет, чего-нибудь привезет.

— Не поедем, — соглашается Никулин.

— Не поедем — пусть прозябают.

Никулин помолчал немного и спрашивает:

— У тебя конверт далеко?

— Вот он, — говорю, — на столе.

— Возьми его в руки.

Я взял.

— Там есть большая треугольная печать? — спрашивает.

— Есть.

— Прочти, что на ней написано.

— Там же по-английски.

— Но буквы-то ты знаешь, вот и читай.

Я читаю. А там написано: «Счастливого пути, дурачок»

А познакомился я с Юрием Владимировичем, когда он был еще подставным в цирке. Подставной — это свой человек. Когда артисты с арены приглашают кого-нибудь из публики, подставной тут как тут, и вот тут с ним начинают валять дурака.

Это было давным-давно — на общественном просмотре цирковой программы. Ну, общественный просмотр — это когда собирается вся театральная общественность: и актеры, и режиссеры, и художники. Тогда Никулина широкая публика, в общем-то, еще не знала, и известным он не был. Знали его только цирковые.

Народу — полный цирк! Обычно на такие представления приходит вся Москва. Все обожают цирк: и простые люди — дворники, водители, и интеллигенция — профессора, академики, то есть кто угодно, потому что это особое искусство — искусство мужественных и отважных, искусство смешных и смешащих.

И вот идет номер за номером. На манеж на роскошных лошадях выехали туркменские наездники в белоснежных папах. Они грандиозно отработали свой номер, и их долго не отпускали: в конце номера были бурные аплодисменты. Неожиданно один из всадников, точно не помню, наверное, это был их руководитель, обратился к публике:

— Кто хочет стать артистом? Кто хочет стать наездником?

Есть такой прием в цирке. И вот он стал спрашивать желающих, но никто не решался стать наездником. В конце концов, он вдруг обратил внимание на какого-то парня и сказал:

— Ну вот — ты! Иди, иди сюда!

И стал вытаскивать на манеж очень странного мужчину. Вид у него был чудовищный: засаленный бушлат, как у человека со старой баржи, какие-то странные мятые брюки с потертыми коленями, кирзовые сапоги, из-под бушлата выглядывала застиранная ковбойка и кончик рваной тельняшки, а на голове была помятая мичманка со сломанным козырьком. Этот портрет во всех деталях я помню до сих пор. Как будто он сейчас стоит передо мной. Но дело даже не в этом. Дело было в лице этого человека, в его глазах! Никто даже и подумать не мог, что это подсадной.

А рядом с ним сидела его жена. Как потом я узнал, это действительно была жена Никулина — Татьяна. Она была одета так, как одевались все тетки в ту пору: замотанная платком и с огромной авоськой с апельсинами и колбасой. Она дергала супруга за рукав и ругалась:

— Куда поперся? Какой артист? Сиди на месте!

А он шевелил губами, и все понимали, что мужик матерится.

— Ладно, перестаньте! — успокаивал их руководитель. — Не надо ссориться, все будет хорошо.

И вот, озираясь по сторонам, мужик медленно выходит на арену.

— Давай ногу, я подсажу тебя на лошадь! — командовал руководитель.

Парень сгибал ногу, и тут начиналась полная глупость, просто идиотизм! Руководитель, подсаживая, перебрасывал его через лошадь, и этот парень падал лицом в опилки, вставал и долго-долго вытряхивал эти опилки изо рта и ушей. Но самое изумительное было в том, как он смотрел на публику: это был взгляд человека, который впервые попал на манеж и вдруг увидел цирк с обратной стороны — не как зритель, а как актер. Он смотрел на зрителей с каким-то мистическим ужасом. И вот тут началось нечто: от этого невероятного лица, от камуфляжа, в который он был одет, в зале начала потихонечку назревать жуткая истерика. Я такого никогда больше в своей жизни не испытывал! Выглядело это как полная глупость: опять к нему обращался руководитель: «Давай я тебя подсажу», тот, конечно, опять перелетал через лошадь, опять падал лицом в опилки, потом вставал, долго что-то вытаскивал изо рта, долго рассматривал внимательно-внимательно, затем начинал задумчиво жевать, глядя куда-то вверх, под купол. А Татьяна, изображающая его жену (и на самом деле жена), кричала:

— Жуй, жуй! Это из лошади!

А он отмахивался и дожевывал. Потом его опять посадили, причем задом наперед. Ездить он, конечно, не умел, поэтому начинал искать опору и, в конце концов, находил ее в виде конского хвоста: он прижимал этот хвост к груди и в таком положении скакал по манежу. Только представьте себе картину: вот эту розовую часть лошади и лицо Никулина!

В цирке творилось что-то невероятное — ну просто стон стоял! Потом с его ноги падал кирзовый сапог и развивалась длинная-длинная портянка невероятного цвета. В конце концов, его выдергивали лонжей из седла, и он летал над цирком — сначала проносился над публикой, потом кружил над манежем. Потом его снова роняли, он падал лицом в опилки и уже не соображал, что с ним происходит. И тут на арену выбегала Татьяна, била его этой авоськой с колбасой и апельсинами, и они вместе убегали.

Все это казалось глупостью, я сам отлично понимаю, что, если бы это делал я или кто другой — ничего бы не произошло. Но это был Никулин! Это было его обаяние, его невероятный талант! Я не знаю, случалось ли когда-нибудь что-нибудь подобное со зрителями где-нибудь в мире. Думаю, что нет.

Напротив меня в ложе сидел Михаил Иванович Жаров. Никогда не думал, что он такой смешливый. Он так странно себя вел, крича: «А-а-а! А-а! А-а! « — и показывая публике пальцем на Никулина, как будто никто больше его не видит. Жаров вываливался из ложи, его туда опять втаскивали, он опять вываливался, хрипел, его снова втаскивали.

У меня часто случается такая ситуация. Рассказываешь в гримуборной о ком-нибудь, и в этот момент входит тот, о ком я рассказывал. В таком случае я обязательно говорю:

— Ну что вы! Он такой идиот!

И мгновенно наступает тишина. Вот и в цирке такое случилось с Жаровым. Вдруг между приступами хохота наступила секундная пауза, и Жаров на весь цирк заорал:

— Ой, я описался!

Думаю, он не соврал, потому что в антракте он не вышел. А все ходили мимо ложи и говорили:

— Михаил Иванович! ..



В ответ он делал такое «жаровское» лицо, словно говоря: «Да вы что! Да перестаньте! Как вам не стыдно! В чем дело! «

После этого номера все остальное представление рухнуло. Артисты, вышедшие работать во втором отделении, хохотали. Жонглер подкинул буквально три булавы, они попадали ему на голову, он сказал: «Не могу!» — и ушел с манежа. Все второе отделение разрушилось. Потом мне говорили, что никулинский номер переставили в конец представления, потому что после него работать было просто бессмысленно.

Когда выходили из цирка, я оказался рядом с Марией Владимировной Мироновой и Александром Семеновичем Менакером. И Миронова все говорила:

— Саша, Саша, не смотри на меня! Не смотри!

Потому что стоило только встретиться с кем-то глазами, как начинался дикий хохот. У меня почти месяц от хохота болела диафрагма — я, наверное, выхохотал весь ресурс за год или за два вперед.

Спустя много времени мы с Андреем Мироновым играли в спектакле «Продолжение Дон Жуана». И вот опустился занавес, и Андрей мне говорит:

— Сегодня день моего рождения. Поехали ко мне.

Приехали. И мы с Марией Владимировной вспомнили о том цирковом представлении.

— А-а! — закричала она и выскочила из комнаты. Потом вернулась и сказала:

— Левочка, разве можно такое напоминать? У меня даже живот судорога свела...

А потом мы с Юрием Владимировичем вместе снимались. В первый раз это было в картине «Старики-разбойники», где я играл маленькую роль водителя инкассаторской машины. С этим фильмом связана такая интересная история.

Одна из сцен снималась в таксомоторном парке. Только мы въехали в ворота, как к нам подошла группа

ребят — они уже ждали нас. Говорят:

— Юрий Владимирович, здравствуйте! Дайте, пожалуйста, ключи от машины. Мы ее сами отгоним и поставим.

А у Юры была тогда «Волга». Они забирают ключи, садятся в машину и уезжают. После съемки, которая длилась фактически целый день, мы стали собираться уезжать из парка. Тут подходят эти ребята и говорят:

— Юрий Владимирович, возьмите ключи, пожалуйста. Вон ваша машина.

Мы сели, и Юра стал ее заводить.

— Стоп-стоп-стоп! — закричал вдруг. — Что-то не так! — А ребята все стоят и улыбаются. Юра вышел и спросил:

— Ребят, вы что-то делали?

Они отвечают:

— Да нет, ничего, Юрий Владимирович.

Когда мы выехали с территории парка, Юра остановился, открыл капот и сказал:

— Лева, а они мне половину деталей на новые поменяли... — Вот такая к нему была необыкновенная любовь. Каждый считал своим долгом сделать что-то такое приятное и полезное этому замечательному человеку.

Повторяю, я был дружен с ним в течение многих, многих лет. И встречались мы с ним постоянно, так как служебный вход театра на Малой Бронной находился напротив подъезда того дома, где жил Юрий Владимирович с женой Татьяной и сыном Максимом. И могу засвидетельствовать: его мудрая доброта была неизменной. Казалось, что, общаясь с ним, сам становишься и остроумнее, и добрее. Находясь рядом с ним, нельзя было быть ни хамом, ни грубым, ни колючим...

Просто нельзя — и все.

## **Виктор Астафьев**

В Москве с Виктором Петровичем я встречался не так уж и часто — он редко наезжал в столицу. А при встречах мы в основном обменивались лишь приветствиями: «Здравствуй». — «Здравствуй». Я относился к нему, да и отношусь, естественно, с огромным почтением, потому что считаю его российским классиком. На меня большое впечатление произвели и его рассказы, и роман «Царь-рыба».

И вот я с театром приехал на гастроли в Красноярск. Я знал, что он живет неподалеку в деревне Овсянка и что у него есть пьеса о войне. Было бы грешно не воспользоваться случаем и не заехать к нему в гости.

Я сел на рейсовый автобус и поехал в эту Овсянку. Автобус был набит битком. Рядом со мной сидел молоденький паренек с юношескими прыщиками на лице, с голубыми глазами, белобрысый. Он все время поглядывал на меня и ерзал. Потом не выдержал и сказал с досадой:

— Ну что за люди! Что они, кино, что ли, не смотрят? Телевизор?..

— А в чем дело? — спрашиваю.

— Да вот едет к нам такой человек, и никто не подходит, ни о чем не спрашивает...

— Ну, ладно, ладно... Тебя как зовут?

— Толик.

— Так это хорошо, Толик, что никто не подходит, не мешает нам с тобой разговаривать. Да мы можем и просто помолчать, природой любоваться.

— Не-не! — говорит. — Ведь это нехорошо, что не узнают.

И не успел он сказать еще что-то, как подходит женщина, протягивает книжку и говорит:

— Поставьте, пожалуйста, свою подпись.

— Да ради бога, только зачем?

— Мы вас очень любим.

Я написал какие-то теплые слова, подписался. И тут Толик повеселел.

— Ну вот видите — узнали!

И тут начали ко мне протискиваться один за другим другие пассажиры с просьбой поставить автограф — кому на книжке, кому просто на бумажке, а кому и на паспорте. Но портить официальный документ я отказался.

— Видишь, — говорю, — Толик, и не дали нам с тобой поговорить — отвлекают.

— А вы куда едете? — спрашивает. — В Овсянку?

— Да, — говорю, совершенно не удивляясь его прозорливости: к кому же еще по этому маршруту может ехать артист!

— А знаете, где он живет?

— Нет.

— А я вам покажу.

Мы вышли вместе. Толик проводил меня до угла улицы и показал, как найти дом Петровича. Дошел я до того дома и оглянулся: Толик стоял на автобусной остановке — значит, он вышел раньше, чтобы только проводить меня. Вот такой гостеприимный, внимательный Толик.

Я подошел к открытой калитке и вошел во двор. И вдруг услышал из окна женский голос: .

— Витя, Витя, смотри, кто к нам приехал! Левочка к нам приехал! А ты все обижался, что он не едет и не едет.

И тут из дома в пижаме выбегает Виктор Петрович.

— Здорово! Что же ты так долго? А я смотрю на афише — Дуров приехал, и почему-то не заходит. Давай, заходи!

Зашли в дом. Он представил мне свою жену Марию Карякину — тоже литератора, и кряжистого человека с

большим плоским лицом и раскосыми глазами, который сидел тут же на табуретке:

— А это наш местный поэт, бывший «панцирник».

«Панцирник» как-то неловко поднялся и откланялся.

— Пожалуй, я пойду. Встретимся на каком-нибудь спектакле. — Он взял в руки две палки и пошел какой-то странной крабьей походкой. Марья тоже оставила нас, сославшись на домашние дела. Виктор Петрович проводил взглядом странного гостя и невесело усмехнулся.

— Вот видишь, мало того, что остался живой — еще и стихи пишет.

А я вспомнил одну встречу на Комсомольском проспекте. Это было 9 мая — День Победы. Я сел в троллейбус и вижу, сидит полковник, а на его груди огромный иконостас — весь в орденах. Я поздравил его с праздником, сказал несколько добрых слов. Вот, говорю, вы заплатили своей кровью за то, чтобы существовала наша страна и люди на ней. Он немного растерялся и посадил меня рядом.

— Спасибо, спасибо, — сказал. — Теперь редко, кто поздравляет, — и спросил: — А вы знаете, в каких я войсках служил? Я служил в «панцирных» войсках.

И рассказал мне, что это такое. Это были особые войска, которые состояли из политзаключенных, из тех, на которых «висела» 58-я статья — антисоветская пропаганда, шпионаж и т.д. и т.п. Им выдавали особые кольчуги, в которых воевали еще наши древние дружинники и на Чудском озере, и на Куликовом поле. «Панцирники» надевали эти кольчуги поверх гимнастеров, на них — телогрейки и шли в бой. Но эти кольчуги не очень-то и помогали. Редко кто выходил из боя живым — ведь «панцирников» выпускали даже перед штрафниками. Считалось, что если тебя ранило, то ты искупил свою вину кровью, и судимость снималась. И наши умельцы придумали другой способ

сохранения жизни. Немецкие каски не кололись — они были двуслойными: на железный лист клали еще и стальной. А наши каски кололись очень легко. И вот их кололи кувалдой, а осколками нашпиговывали вспоротую телогрейку. Эта телогрейка надевалась на кольчугу. От прямого попадания это не спасало, но от нее хорошо рикошетило. Так был создан прототип бронезилета. «Панцирники» опускали каску на глаза и с автоматом в руках шли в атаку.

Так я встретил на своем жизненном пути еще одного «панцирника», ныне поэта. В него попали из противотанкового ружья, и он четыре с половиной года провисел на ремнях, потому что его нельзя было класть ни на что жесткое. В конце концов его кое-как собрали, и теперь вот он и ходил такой крабьей походкой...

Мы переговорили с Петровичем о том о сем, перебрали последние новости, и он пригласил меня прогуляться по Овсянке, пока хозяйка готовит стол.

И я увидел те самые огороды, о которых он не раз писал в своих рассказах и воспел в «Оде русскому огороду»; посмотрел на дом, который Петрович поставил на свой первый гонорар старухе-погорелице; заглянул в тот самый подвал, куда отец сажал Витьку, заболевшего малярией, чтобы снять с него хворь. Бабушка, жалея внука, подсовывала туда ему шанежки. И когда Виктор отлежался после тяжелой болезни, он из последних сил поднял крышку погреба и вылез на свет божий.

— Ну жив, — сказал отец, увидев сына. — А раз вылез, живи дальше.

Потом Петрович рассказал о какой-то страшной траве, которая наступает на посевы, о траве, которой в Сибири никогда не было: бурьян со страшными колючками, которого боится даже клевер. И я в самом деле увидел в бурьяне низенький-низенький клевер. Еще показал он мне умирающую от кислотных

испарений заводов березовую рощу. С большой грустью говорил, как вырубаются лесные массивы, как река Енисей перестала быть рыбной рекой...

Печальный получился рассказ. И чтобы развеять писателя, я пригласил его с супругой на спектакль «Женитьба». И они пришли и были в восторге. А после спектакля я пригласил их и несколько актеров из труппы в свой гостиничный номер, где уже был накрыт стол, который венчал великолепный малосольный хариус.

— Вот, ребята, — оглядев нас, улыбнулся Петрович, — смотрю я на вас и вспоминаю свое детство, когда звуковое кино только начиналось. О жизни артистов мы в ту пору ничего и знать не знали — кто на ком женат и сколько получает — даже не пытались: артисты для нас были людьми неземными, дрались и умирали взаправду. И много споров, а то и потасовок требовалось нам, игарским детдомовцам, чтобы выяснить, как убитый командир, хоть бы его и сам Крючков играл, возник снова целый и невредимый?! Словом, были мы простофили-зрители. Мы и титры-то не имели привычки читать: артистов кино помнили чаще не пофамильно, а в лицо. И с гордостью за свою глазастость и памятьливость, сидя в темном, часто холодном кинозале, тыкали друг дружку в бока: «Помнишь бандюгу в „Золотом озере“? Он! А этот в „Тринадцати“ и в „Морском посту“! — „Точно! Он всегда командиров играет...“

И никто не одергивал, как нынче: «Эй, теоретик, заткнись! «

Наоборот, прислушивались к памятливому парнишке и даже переспрашивали: «Это который? С дыркой, что ли, на подбородке? Сильный артист! ..» А стоило, допустим, появиться на экране Андрею Файту, фамилия которого запомнилась оттого, что судной шибко казалась, как возникал и катился по залу ненавистный

шепот: «У-у, вражина! У-у-у, га-ад! „ Мои старые друзья по сей день не верят, что именно этот актер сыграл недавно в телефильме «Гончарный круг» премилого, добрейшего мастерового старика, — он, мол, гадов только может изображать...

— И когда же вы освободились от этой «наивности»? — спросил кто-то из актеров.

— Не знаю... Пожалуй, не освободился и до сих пор. На то оно и искусство — в этом его тайна, — Петрович помолчал немного и продолжал: — На фронте, уже взрослый и тертый вояка, сидел я как-то в тесно забитой бойцами украинской клуне прямо на земляном молотильном току и смотрел кинокартину о войне. Смотрел и вдруг дрогнул сердцем, даже вскинулся: узнал в лицо знакомую с детства артистку. Ровно бы родного кого встретил и хотел тут же поделиться радостью с товарищами, но не до того стало, исчезло вдруг ощущение условного действия. И хотя постукивал за клуней электродвижок, жужжал и потрескивал киноаппарат, все воспринималось вьяве.

Может, причиной тому были звезды, видные в разодранном соломенном верху кровли, перестук пулеметных очередей на передовой, запах земли и гари — не знаю, но ощущение доподлинности охватило всех бойцов. Когда дело дошло до того места в картине, где мать убитого дитя, тайком от фашистов закопавшая его во дворе, притаптывала землю, чтоб «незаметно было», она глядела на нас широко раскрытыми глазами, в которых горе выжгло не только слезы, но даже саму боль. И сделались они, эти глаза, как у младенца, прозрачны и голубы, хотя кино было и нецветное. Почудились они нам звездами, они даже лучились, указывая в самое сердце. Она уже ничего не видела и не слышала. Она топталась и топталась по своему дитю и с недоумением и мольбой глядела куда-то далеко-далеко — должно быть, в вечность. Белая рубаха до



пят, припачканная землей и детской кровью, похожая на саван, распущенные шелковистые волосы и босые материнские ноги будто исполняли танец вечной муки и возносили ее в такую высь и даль, где обитают только святые. И в то же время блазнилось — живыми ногами наступает она на живое, дитю больно и страшно в темной земле...

Хотелось остановить ее, да не было сил крикнуть, шевельнуться — оторопь брала, костенела душа, стыла кровь.

«Господи! Господи! .. — зашелся кто-то сзади меня. — Что деется? Что деется?! „ Я очнулся: в клуне глухой кашель, хрип — солдаты плакали «про себя“, давили боль в груди, и каждый думал, что плачет только он один — такой жалостливый уродился — и если ударится в голос — спугнет женщину, которая не в себе, и тогда она очнется и упадет замертво...

Виктор Петрович замолчал, молчали и мы, потрясенные его рассказом. Потом он, не поднимая головы, будто про себя, продолжил глухим голосом:

— Целую вечность спустя я встретился с этой актрисой и спросил, как ей удалось так доподлинно сыграть ту роль. «А я и не играла», — сказала она и рассказала мне историю, связанную с этим фильмом.

Тогда столичную киностудию эвакуировали в Алма-Ату. Актриса оставила в Москве мужа и восемнадцатилетнего сына. Сын сразу же после ее отъезда ушел в ополчение. И вот в разгар работы над фильмом ее вызывают телеграммой в Москву на похороны погибшего сына. Ей выписали пропуск, проводили на поезд, а через десять дней встретили. Она удивилась, что на вокзал приехал сам постановщик фильма, прославленный режиссер, занятой человек. Но тут же забыла об этом. Привезли ее почему-то не домой, а сразу на киностудию. И как была она — в старой шалюшке, в древней стеганке, в подшитых

валенках, — завели в павильон, где их уже ждала съемочная группа. «Но я не могу сейчас работать! — взмолилась актриса. — Это бесчеловечно! „ Она плакала, рыдала, а режиссер только молча гладил ее по этой серенькой шалюшке. И когда она выплакалась, сказал единственное распространенное тогда слово: «Надо“.

Он дал актрисе ножик, поставил мешок с мелконькой грязной картошкой и стал расспрашивать ее про Москву. А потом начались съемки, актриса продолжала чистить картошку и так увлеклась, что актера, игравшего немца, а он был доподлинный немец, предупредили: «Будьте осторожны. У нее в руках нож...»

Она работала всю ночь, а когда съемки закончились, режиссер встал перед ней на колени и поцеловал ее руки, испачканные землей: «Прости». — «Бог с тобой, — сказала она. — Получилось ли хоть что? Мне ведь не пересняться. Я умру...»

— Не знаю, друзья мои, — закончил Петрович эту историю, — ответил ли я на ваш вопрос о «наивности». А вообще я считаю, что счастлив тот, кто до конца дней своих сумел сохранить эту «наивность». Это великий дар. Не теряйте его.

— Виктор Петрович, — спросил кто-то, — вы ведь поздно начали печататься? Ну понятно, война...

— Если бы не война, — кивнул Петрович, — я начал бы писать лет на десять-двенадцать раньше. Я испытывал тягу к сочинительству с детства. Разумеется, тогда получился бы другой писатель: лучше или хуже — угадать уже никому не дано. Однако, вне всякого сомнения, тот, не испытавший ужасов войны, не насмотревшийся на кровь и слезы, писатель был бы мне гораздо приятней по той простой причине, что был бы он культурней, образованней, писал бы не об обесцененной и надломленной человеческой жизни, не

о страданиях и горе, а о чем-то другом, более нужном человеку и природе, что в общем-то и соответствовало моему жизнерадостному и оптимистическому характеру, который хотя и сохранился в войну, однако понес неизбежные утраты, и они-то часто подминают под себя светлое видение мира. И тогда являются в жизнь и в прозу раздражение, подозрительность, недовольство (прежде всего самим собой), порой и озлобленность — самый плохой помощник в писательской работе.

Потом были общие разговоры просто «за жизнь», и мы проводили дорогих гостей только под утро. И ребята мне сказали:

— Лева, какую же прекрасную ночь мы провели сегодня! И какой это потрясающий человек — как он мыслит и как разговаривает!

В самом деле, Виктор Петрович очень интересно разговаривает. Мне, понимаю, не удалось передать хотя бы частичку его интонации. Его речь напоминает речь простого деревенского человека, и в то же время в каждой его фразе столько мудрости, столько красоты, столько поэзии! Так разговаривают очень немногие. И эта сибирская присказка, которую я опустил: «Ага... ага... ага...» — «Лёв, вот тут я написал два рассказа, они тебе наверняка понравятся, ага?»

Никогда он ко мне ни с какими просьбами не обращался. Только однажды оператор Толя Заболоцкий, который тоже дружил с Петровичем, сказал мне:

— Лева, надо нам под Москву, в Хотьково, съездить — Виктора Петровича отвезти к одной старушке, которую он считает своей второй матерью.

— О чем разговор! Конечно, поедем.

И мы с Петровичем поехали. В Хотькове быстро нашли ее дом, вошли во двор и увидели роскошный огород. А когда открыли дверь в избу, почувствовали ни с чем не сравнимый аромат засушенного разнотравья.

На кровати, под одеялом, слабо просматривалось худенькое тельце старушки, а на нас смотрели умные-умные веселые глаза. Рядом, на подоконнике, стояла плошка с клубникой. Как потом мы узнали, соседи опекали старушку и ухаживали за ней. Она никуда не хотела уезжать и завещала после смерти и дом, и землю тем, кто ухаживал за ней.

И вот тут началось. Она вдруг стала вспоминать войну — как встречала эшелоны с ранеными, приносила солдатам грибы-ягоды. Казалось, они не могли наговориться с Петровичем. А потом тетя Сима (так звали старушку) неожиданно замолчала, а потом сказала:

— Вить, у меня ведь грех перед тобой... Помнишь, когда Маня привела тебя в дом, я сказала ей: «Что, ты не могла кого получше найти? Завалящего привела...»

Петрович засмеялся.

— Да я ведь все слыхал тогда.

Они посмеялись, а потом тетя Сима посерьезнела.

— Вить, я тут телевизор смотрела. Ну что ты все в драки ввязываешься! Вот ты написал рассказы, а они убить тебя грозятся.

— А чего мне бояться? — опять засмеялся Петрович. — Войну прошли — не боялись, а теперь я козлов всяких бояться должен? Я пишу о том, о чем не писать просто не могу. Ведь ты меня знаешь.

— Вот ты на каком-то съезде, что ли, выступил, всех генералов разозлил. Зачем?

Петрович все попытки тети Симы перевести разговор на серьезные темы сразу же пресекал, обращая все в шутку.

Наконец пришло время расставаться, и тут тетя Сима сказала:

— Вот ты знаешь, Вить, я уже устала жить — пора помирать. Смерть зову...

А Петрович так спокойно:

— А чего ты ее зовешь? Она и так вон бродит где-то рядом. Придет, придет, ты не волнуйся, будь спокойна.

Я был поражен, с каким спокойствием они рассуждают о жизни и смерти: она неизбежна, и чего тут попусту рассуждать! Я даже и не подумал о том, что для Петровича это была очень тяжелая встреча.

В дверях он обернулся, отвесил ей низкий земной поклон и сказал:

— Когда-то еще встретимся? Будем надеяться...

Мы вышли и поехали в Москву. Дорогой Петрович стал рассказывать о войне. Вспомнил, как однажды они захватили немецкую батарею и решили из немецкой пушки открыть по немцам же огонь. А попали совсем не туда — по своей деревне! Оказалось, что у пушки был сбит прицел. Прибежали селяне и чуть этих гореллертиллеристов не избили. Кое-как воины объяснили, в чем дело.

Потом рассказал о старшине, у которого был целый вещмешок различных погон: разных видов войск и разных званий. И вот когда группа подходила к переправе, он смотрел, какие войска охраняют мост, и надевал соответствующие погоны. Говорил, что сам наводил этот плавучий мост и его группа должна переправиться на другой берег, чтобы укрепить там опоры. И их без задержки пропускали.

И вот однажды его «засекли». Он надел погоны особиста и стал орать, что всех пересаждает, если не пропустят его группу. Но он забыл, что на этой переправе он уже два раза был в разных родах войск и с разными званиями: то майор, то полковник. И его избили, чтобы он больше не шалил. Принесли его на плащ-палатке солдаты из другой части и сказали:

— Это мы его отвалтузили, чтобы больше не выкобенивался: ишь ты, стал уже изображать из себя особиста!

Потом вдруг Петрович замолчал. Я посмотрел на него и увидел, что он спит: выплеснул из себя какие-то воспоминания о войне, которые будоражили его, и успокоился, уснул.

А через некоторое время Петрович написал мне, что старушка скончалась.

После этого я долго не встречался с Виктором Петровичем. И тут мне позвонили и попросили подписать открытое письмо в газету: местные власти отказали Астафьеву в персональной пенсии! Я был возмущен: как можно было отказать в персональной пенсии — кому? Человеку, который столько сделал для страны и в войну, и в литературе, и в общественной жизни! Писателю, который уже признан классиком русской литературы! Мне стало грустно, настроение было просто ужасное.

Подумал: что же мы за люди?!

Юлиан Семенов

Я не помню, приходил ли Юлиан, автор романа и сценария, на съемки фильма «Семнадцать мгновений весны» или он не появлялся на съемочных площадках. Мы с ним встречались в Центральном Доме литераторов, во Всероссийском театральном обществе, кивали друг другу — и не больше. Ближе с ним познакомился, когда приехал с театром на Малой Бронной на мюнхенский фестиваль. Тогда это была Федеративная Республика Германии.

Юлиан очень обрадовался встрече, схватил меня и Леню Каневского и потащил в Посольский городок. Мы сидели в какой-то большой просторной квартире, вспоминали Москву, общих товарищей и знакомых. И тут за окном раздались громкие голоса. Юлиан подскочил к окну и стал орать с балкона:

— Вот она идет! Вот она идет — Малая Бронная! Вот они все идут, евреи с Малой Бронной: вот и Броневой, и

Эфрос! Вот единственный русский человек! — и выдернул меня на балкон. И я, как дурак, стоял и не знал, куда деваться. А потом он пригласил меня с Каневским к себе. И мы поехали. Это было некое бунгало — то ли квартира, то ли офис: Юлиан был тогда корреспондентом «Литературной газеты». Я Юлиана сразу же назвал Фальстафом — он весь был живой, буйный, бурно проживающий каждую минуту, выпивающий — и все это делающий шумно, громко. Тут же началось какое-то жарение сосисок в камине, появились вино, виски, водка.

А все стены этого бунгало были увешаны картинами. Оказалось, что это рисунки его дочери. И тут он до того разошелся, что стал расхваливать эти картины до такой степени, что нам стало неловко. Он объявил на полном серьезе, что все импрессионисты ни больше ни меньше как последователи его дочери. Но мы уже не обращали на это никакого внимания. А он уже до того вошел в раж, что чуть не упал в камин. А Ленька Каневский решил, что Юлиан много зарабатывает, и попытался «расколоть» его.

— Ой! — вдруг воскликнул он. — Я давно мечтал купить плащ. И тут увидел в витрине одного магазина как раз тот плащ, о котором все время мечтал! К сожалению, у меня всего семьдесят марок, а он стоит значительно дороже...

— Леня! — закричал Юлиан. — Добавь еще семьдесят марок и купи себе этот плащ!

На этом коммерческий разговор и закончился. Но мы все равно замечательно провели время.

Гастроли наши прошли прекрасно. А потом был прием у нашего посла в ФРГ Семенова — фамильного тезки Юлиана. А Юлиан и у посла вел себя так бурно и возбужденно, что не знаю, как только посол его терпел.

А потом у меня была любопытная встреча с ним в Ялте, где я отдыхал. Однажды я вышел из гостиницы

прогуляться и чуть не столкнулся с обнаженным до пояса бегуном. Это был Юлиан. Он схватил меня за руку и сказал:

— Лева, сейчас мы будем бегать трусцой.

И мы побежали маленько-маленько, взяв ориентир на палатку вдалеке. В палатке нас уже ждали: на подносе стояли два фужера с напитками — апельсиновый сок с чем-то сильно крепким.

Юлиан сказал:

— Это коктейль «Юлиан Семенов».

Мы выпили и побежали в обратную сторону. Маршрут мы повторили несколько раз. Нам сильно захорошело. И я спросил:

— Может, хватит трусцой?

Он кивнул.

— Ко мне, — и затащил меня к себе в номер гостиницы «Ялта». Посредине комнаты стояла огромная зеленая кровать. Юлиан уложил меня в постель, сам лег рядом и стал читать вслух главы из своей новой книги о Столыпине.

Так продолжалось три дня. Было безумно интересно, и я не мог вырваться, чтобы предупредить своих, что все нормально и я лежу в постели Юлиана Семенова.

Потом пришел огромный человек с огромным-огромным портфелем, и Юлиан сказал мне:

— Сейчас мы едем покупать мне дачу, и ты обязательно должен при этом присутствовать.

Мы сели в машину и поехали то ли в Алупку, то ли в Алушту — сейчас уже не помню. И вот подъехали к странному заведению с огромными металлическими воротами. Нам открыли военные и откозыряли. Мы подкатили к какому-то пустынному зданию, поднялись по лестнице. Огромный мужик с огромным— огромным портфелем остался ждать нас в машине. А на всех лестничных площадках — военная охрана, и все



kozyряют Семенову. Зашли в какой-то кабинет, и там человек сказал:

— Все в порядке, товарищ Семенов, печати стоят, можете спокойно ехать и совершать купчую...

Оказывается, в Крыму ничего нельзя было приобрести без разрешения КГБ — погранзона! Ну поехали совершать купчую. Нас встретил совершенно спившийся хозяин, который с трудом поставил свою подпись. И я увидел ужасный сарай, к которому даже страшно было подходить — он мог рухнуть в любую минуту и, казалось, всем своим видом предупреждал: «Ребята, ко мне не подходите — я вас накрою!»

Тут подошла какая-то женщина, видимо местная власть, и сказала:

— Товарищ Семенов, когда будете строиться, вы не должны выходить за параметры этого дома.

— Нет-нет! — сказал Семенов. — Мы вширь не пойдем. Мы пойдем только вверх.

Потом он построил на этом месте дачу и действительно пошел вверх — наверху он оборудовал мастерскую для дочки-художницы. Я там не был, но говорили, что получилось скромно, но уютно и красиво.

А когда мы, совершив купчую, возвратились в гостиницу, тот огромный человек с огромным-огромным портфелем открыл наконец этот портфель и вытащил из него целую батарею бутылок: коньяк, массандровские вина, шикарную закуску, фрукты... Как потом оказалось, это был директор карьера, который обещал Юлиану помочь сделать фундамент и цоколь будущего дома. Покупку мы обмыли на самом высоком уровне.

А однажды мы ехали с Юлианом по одной из крымских дорог и увидели съемочную группу — шла съемка какого-то фильма. Юлиан затормозил, высунулся из дверцы и стал орать:

— Войска! — хотя там никаких войск не было. —  
Танки вперед! Ура-а!!! Кавалерия! И потом все — в  
корзину!

Захлопнул дверцу, и мы поехали дальше. Я  
обернулся и увидел ошалевшую киногруппу. Впереди,  
раскинув в недоумении руки, стоял Андрей Миронов. Он  
не увидел, кто это так орал, и, слава богу, не узнал  
меня.

Вот такой был Юлиан: ему нужно было всех  
ошеломить и уехать. Но я его видел и в довольно  
драматической для него ситуации. Это когда почти всех  
награждали за участие в фильме «Семнадцать  
мгновений весны». А этому предшествовала такая  
история. Вячеслав Тихонов прочитал по телевидению  
незабвенные страницы из книг Леонида Ильича  
Брежнева, и тот сказал, что надо бы ему дать за это  
Звезду Героя Социалистического Труда. Но, видимо,  
помощники ему объяснили, что за это нельзя давать  
Гертруду. И посоветовали ему посмотреть фильм  
«Семнадцать мгновений весны», где играет Тихонов.

Генсек-писатель соизволил посмотреть несколько  
серий, и они ему понравились. И вот десять лет спустя  
после премьеры стали награждать участников фильма.  
Семенова в списке награжденных не оказалось.

И вот мы сидели у него в номере гостиницы, и он со  
слезами на глазах говорил:

— Лева, ты пойми — ведь это я автор, я все  
придумал, а меня как бы и нет! ..

— Юлиан, не расстраивайся, — как мог, успокаивал  
я его. — Меня ведь тоже вычеркнули.

— Лева, но ты ведь действующее лицо,  
исполнитель, а я — автор! И вас всех родил!

О том, за какие прегрешения вычеркнули из списка  
меня, я уже писал в своей первой книге, поэтому  
повторяться не буду. А Юлиана мне тогда было  
искренне жаль.

Потом он опять уехал за границу. Я как-то зашел в соседний магазин «Свет» — мне нужно было купить вращающуюся лампу. А продавщица говорит:

— Вы знаете, таких ламп сейчас у нас нет. Была одна, но ее заказал Юлиан Семенов. Она стоит у нас в подсобке, и мы ждем, когда он ее заберет.

— Ну когда он приедет, — постарался я убедить ее, — к тому времени у вас уже будут лампы. А эту продайте мне. Даю слово, он вас простит, когда вы скажете ему, что отдали Дурову.

Она долго мялась, но в конце концов я ее уговорил, и она продала мне эту лампу. А через полгода я опять зашел в этот магазин и поинтересовался:

— А что Юлиан Семенов — приходил?

— Да. Я ему объяснила, кому продала, и он сказал: «А, Левочке! Это очень хорошо».

И вот когда я писал о нем эти заметки, для меня светила «лампа Юлиана», как я ее теперь называю.

Рассказывают, что, когда Юлиана познакомили в Париже с Жоржем Сименоном, он воскликнул:

— Жорж, а ведь мы с тобой тезки! Если наши фамилии перевести на французский, мы оба будем Сименоны, а если на русский — Семеновы!

Не знаю, понял ли француз эту шутку, но Юлиану, думаю, это было совершенно безразлично. Он был из тех, которых называют странными людьми и которые часто действуют под влиянием неких импульсов, отбрасывая в сторону соображения целесообразности.

Да, наверное, он все-таки был из этой породы — из породы странных людей.

# СТРАННЫЕ ЛЮДИ

Пожалуй, ни в одной литературе мира нет столько образов странных людей, сколько в русской... И ведь это не плод фантазии наших писателей — почти у каждого из этих персонажей существовали реальные прототипы. Земля, что ли, у нас такая или воздух особенный, которые благоприятствуют рождению этих личностей? Да нет, думаю все же, что у русского человека просто избыток энергии, которую девать некуда. Ему уже не хватает обычной, реальной, жизни, и он создает себе еще и параллельные миры.

Мне на моем жизненном пути довелось встретить немало этих «странных»: и в театральной среде, и в писательской, среди деревенских жителей и городских — везде, где русский дух, где Русью пахнет. Некоторые экземпляры из своего гербария я и представляю на суд читателю. Пусть он сам судит, чего в них больше — странностей, психических аномалий или просто озорства. Ну а уж в том, что все они дети своего времени, нет никаких сомнений.

## *Петюнчик*

Он занимался наукой, но я знал, что он бывший спортсмен. И почему-то все его звали Петюнчиком.

Это был удивительный человек, который ни минуты не мог прожить нормальной спокойной жизнью. Он постоянно играл и кого-то разыгрывал. Без этого он просто не мог. Вдруг останавливался на улице, смотрел вверх и замирал.

— Вон, вон, вон.... — начинал он бормотать. — Боже! Боже, это же надо! ..

Вокруг него собиралась толпа, все смотрели вверх и вправду что-то начинали там видеть. Какой-то кошмар! А Петюнчик отходил в сторону и наблюдал за всем этим как случайный прохожий.

Этот странный человек никому не давал покоя — ни на улице, ни в трамвае, ни в автобусе. Задавал какие-то дурацкие вопросы, кого-то узнавал.

— Боже мой, сколько лет, сколько зим! Сколько же мы не виделись?

Человек, к которому он привязался, мучительно пытается вспомнить, где он мог видеть этого типа. Но Петюнчик ему сам напоминает:

— Ну как же! Помнишь, мы с тобой на Белорусском фронте...

Все смотрят на них и ничего не понимают: они и по возрасту-то ни на каком фронте не могли быть... А Петюнчик с такими подробностями вспоминает их окопную жизнь, что тот и в самом деле начинает верить, что он действительно воевал, и именно на Белорусском фронте. И тут люди начинают смотреть на них с уважением: как же, друзья-однополчане встретились после стольких-то лет! А те уже и обнимаются, и целуются, и все прочее. Вот такой вот Петюнчик.

Как-то звонит.

— Лев, в Лужниках сегодня легкоатлетические соревнования дружественных армий. Нужно обязательно пойти. Будет очень интересно.

И мы пошли. Заняли на трибуне места, и тут объявляют, что в забеге будет участвовать чемпион мира Владимир Куц. И Петюнчик спрашивает громко, чтобы все слышали: .

— Лев, Куцый — это какой?

Я говорю:

— Не Куцый, а Куц. Вон на третьей дорожке стоит.

— Послушай, как же он может бежать? — удивляется Петюнчик, опять же громко, чтоб все слышали. — Он какой-то кривоногий. Да разве он бегун?

Все вокруг похихикали. И тут выстрел стартового пистолета, а Петюнчик продолжает комментировать:

— Смотри, ведь он уже задыхается. Какой же это чемпион мира? Да он уже и бежать не может — все время спотыкается и спотыкается!

Зрители начинают роптать:

— Успокойтесь, ради бога! Если ничего не понимаете в легкой атлетике, нечего было приходить на стадион. Что вы лезете с вашими идиотскими комментариями? Сидите и молчите!

А Петюнчик не унимается и продолжает:

— Да нет, вы посмотрите: у него и форма какая-то не такая, и трусы, по-моему, только вчера сшили. Нет, нет, не годится! Вот смотрите, смотрите — задыхается! Совсем отстает, отстает...

Тут уж вся трибуна начинает раздражаться, а он все комментирует, комментирует и уже слов не находит, как бы еще унизить этого самого «Куцего»: и какой он кривоногий, никуда не годящийся, и фамилия у него настоящая — Куцый.

Чувствую, публика начинает нас ненавидеть. А бегуны проходят еще несколько кругов, и вот Куц отрывается ото всех.

— Ага, отрывается, ! — кричит Петюнчик. — Он еще метров сорок пробежит и умрет! Ага, вот смотри — уже все: спотыкается, спотыкается! ..

И уже вся трибуна:

— Да заткнись ты!!!

Я говорю:

— Сейчас нас будут бить.

— Ну и пускай бьют! — кричит Петюнчик. — Если они ничего не понимают в легкой атлетике, чего они

сюда приперлись? Ну вот, смотри, смотри!

Тут Куц рвет ленточку, и объявляют новый мировой рекорд. А Петюнчик возмущается:

— Да это же все по благу! Это же все подстроено! Все бежали гораздо лучше, но специально стали отставать!

А я чувствую, что живыми мы отсюда не выйдем. А в это время Куц совершает круг почета, бежит мимо нашей трибуны — и Петюнчик кричит:

— Володя! Володя!

Куц поворачивает голову.

— Петя!

Перепрыгивает через турникет и через всех зрителей лезет к нам. Трибуна замерла. Куц расцеловался с Петюнчиком, поздоровался со мной, сел рядом и спрашивает:

— Ну, как я бежал?

— Замечательно! И такой колоссальный отрыв! На такой дистанции!

А он:

— Да ну. Господи! Есть еще силы.

И тут вся трибуна начала от нас отползать, отползать...

— Петь, — спрашивает Куц, — а у тебя как дела?

— Да вот работаю.

— Не думаешь вернуться в спорт?

— Да какой там спорт! Годы не те.

— Ну ладно. Пока. А то там тренер, наверное, уже психует: где я, где я!

Они обнялись, расцеловались. Куц спустился на дорожку и побежал. И Петюнчик опять, чтобы все слышали:

— Ну что, все? С Вовкой повидались, поехали домой. Давай возьмем бутылочку и выпьем за его здоровье.

Сквозь гробовую тишину мы прошли с Петюнчиком всю трибуну и поехали домой.

## **Орден «Льва и Солнца»**

Работал у нас в Центральном детском театре золотокудрый красавец Славка. Фамилию его я уже не помню. Он сыграл в каком-то спектакле сказочного принца, и на том его артистическая карьера завершилась. Дело в том, что он увлекался еще и стихами и разрывался между сценой и поэзией. Два-три стихотворения он даже сумел где-то опубликовать.

История, которая с ним случилась, произошла во время визита в нашу страну шаха Ирана Реза Пехлеви со своей очаровательной супругой шахиней Сорейей. Шума и треска тогда было очень много. И по этому поводу в Москве даже стали ходить анекдоты. Правда, больше связанные с шахиней, чем с шахом, который не представлял для обывателей никакого интереса.

И вот в самый разгар официальных визитных страстей приходит Славка на репетицию и небрежно сбрасывает с себя свой кремовый пыльник (были еще в то время такие легкие летние плащи). Потом медленно оборачивается к своим товарищам, и у всех отвисают челюсти: на груди Славки, на голубой муаровой ленте, переброшенной через шею, красуется огромный шикарный орден явно восточного происхождения. Об этом можно было догадаться по синему эмалевому полумесяцу, который сразу бросался в глаза.

— Славка, откуда?

Славка помялся немного («Даже не знаю, имею ли я право говорить об этом...») и наконец решился.

— Только между нами, ребята, — предупредил он. — А то и мне может быть плохо, да и вам не поздоровится. Короче. Черт меня дернул пойти позавчера в Книжную лавку, что на Кузнецком Мосту. Сказали, что там есть



старое издание Ланга «О сценической игре». Заворачиваю за угол и вижу: стоит у Дома моделей огромная толпа. Всю улицу перегородила.

— В чем дело? — спрашиваю.

— Шахиня, — сказали, — решила посмотреть наши модели.

Ну, думаю, такой случай упустить никак нельзя. Такая ли она красавица на самом деле, как о ней говорят. По газетным-то снимкам ни фи́га не определишь. И бочком-бочком пробираюсь к стеклянным дверям. И только просунулся в первый ряд, как дверь отворилась и вышла она! Ребята, верьте не верьте, я чуть не ослеп. И тут она вынимает из сумочки белоснежный платочек и — роняет его! Он парит в воздухе, как мотылек. Какая-то сила толкнула меня, я рванулся вперед, подхватил на лету платочек и с поклоном передал шахине. Она приняла его, улыбнулась мне (будто солнышко взошло!) и что-то коротко сказала телохранителю. О, мужики, если б вы видели эту улыбку, вы бы ошалели! Да-а... И тут, чувствую, двое в штатском оттирают меня, оттирают и выводят на чистое пространство. «Кто? Что? Откуда?..» Ну я и сказал, что я поэт, а работаю в ЦДТ. Дал им все свои координаты, и меня отпустили. А вчера утром, только позавтракал, слышу во дворе звуки божественной восточной мелодии. Посмотрел в окно, а это сигналит длинная шикарная машина серебристого цвета. А на радиаторе посольский флажок с полумесяцем. И тут звонок в дверь. Открываю. Входит шикарный мужик и передает мне обалденный пакет с вензелями. «Вы, — говорит, — приглашены сегодня в иранское посольство на прием, который дает ее высочество шахиня Сорейя». За вами приедут». И ушел. Вскрываю пакет — действительно, официальное приглашение! Честно говоря, я струхнул. А не провокация ли это? Может, завербовать хотят? В

посольство-то меня привезут, а вот как выйду оттуда, так и повяжут и поволокут под белые ручки на Лубянку. Не-ет, думаю, надо подстраховаться. Связался со своим старым дружкой, у которого батя-генерал служит в МУРе. «Срочно, — говорю, — устрой мне встречу со своим отцом. Это очень важно. Дело касается, — говорю, — международных отношений». Через два часа я уже был в кабинете Ивана Васильевича. Объяснил ему, в чем дело. Он выслушал, а потом походил-походил по кабинету и говорит: «Это ты молодец, что обратился к нам. От этих империалистов всего можно ожидать. Сегодня он друг, а завтра? Езжай на прием и держи нас все время в курсе дела. Попытайся прощупать, чего они от тебя хотят».

Вечером приехал за мной тот же шикарный лимузин, и отвезли меня в посольство. Ребята-а! Вы такое только в кино видели. Все в смокингах, во фраках, а мне хоть сквозь землю провалились в своем польском пятидесятирублевом пиджачке в клеточку. Но народ, видно, интеллигентный собрался — никакого ко мне презрения, а все с уважением: «йес», «плиз», «битте-дритте». На подносах водку носят в фужерах, но я ни-ни: мало ли что! И тут выходит Сорейя! Нет, не выходит — будто плывет по воздуху. Увидела меня — и сразу ко мне. Переводчик сбочку семенит. Отвели они меня в сторонку, и Сорейя сразу к делу. «Я, — говорит, — сэр Слава...» Черт побери, я уже сэр! «Я, — говорит, — читала ваши стихи в переводах. Они великолепны! И у меня к вам есть предложение: не согласились бы вы быть моим придворным поэтом?» У меня язык даже отнялся. Такое только во сне может присниться. Я — придворный поэт! Чертоги, гарем — ошалеть можно! Но я сдержался, как учил меня Иван Васильевич, и говорю: «Это очень лестное для меня предложение, ваше высочество. Но, простите, разрешите мне о нем подумать». Шахиня понимающе улыбнулась (будто

солнышко взошло! ) и слегка хлопнула в ладоши. Откуда ни возьмись, появился человек в чалме, поклонился шахине и открыл перед ней шикарный футляр, весь в бархате... Она достала из него вот этот орден и своими руками надела мне его на шею. «Пусть, — сказала она, — этот орден „Льва и Солнца“ поможет вам быстрее разрешить ваши сомнения». Не помню, как привезли меня домой: я будто вернулся из другого измерения. Когда немного пришел в себя, вспомнил, что Иван Васильевич ждет моего звонка. Да один ли Иван Васильевич! Наверняка он уже подключил к этому делу и разведку, и контрразведку, и черт знает что там еще! Позвонил. Рассказал все как было. Иван Васильевич долго сопел в трубку, потом спросил: «Ты и в самом деле будешь над этим думать?» — «Но я же дал слово подумать. И потом этот орден...» И тут Иван Васильевич взорвался: «Это говоришь мне ты, комсомолец? Советский человек? Ты продался за какую-то цацку! Неужели наши деды и отцы свергали ненавистное самодержавие для того, чтобы их потомки получали из рук новых сатрапов дешевые подачки! „ — «Но ведь наше партийное руководство, — напомнил я ему, — на руках носит этого Пехлеви“. Я слышал, как Иван Васильевич даже ногами затопал. «Заткнись! Что ты понимаешь в высокой политике?! « Долго он еще орал на меня. А потом бросил трубку, когда я дал ему слово держать его в курсе дальнейших событий.

Славка замолчал и задумался. Его рассказ произвел сильное впечатление.

— И что ты решил? — спросил кто-то.

Славка только пожал плечами.

— Комсомол-то тебя гаремом не обеспечит.

— Не обеспечит, — уныло согласился Славка. — Буду думать...

Он думал до тех пор, пока шах с шахиней не улетели в свой Иран, а вскоре и развелись. Потом

Сорейя издала в Париже, что ли, книгу о своем бывшем благоверном, в которой облила его такими помоями, что Славка окончательно успокоился. «Как хорошо, что я не уехал с ней, — говорил он всем. — Я думал, она святая, а оказалось — обычная кухонная баба».

И тем не менее на какое-то время Славка оказался своеобразной достопримечательностью: «Видите, — показывали на него пальцем, — это тот самый бывший любовник шахини Сорейи». Да, какое-то время Славка еще купался в лучах сомнительной славы. И неизвестно, как долго он бы еще играл роль романтического героя, если б не случай, разрушивший этот загадочный образ самым коварным образом.

Будучи в Ленинграде на гастролях, Славка познакомился с редактором, да не простым, а главным, местного издательства. Они понравились друг другу и, соревнуясь в щедрости, так шикарно гудели, что оказались на мели. И тогда главный взял у Славки рукопись стихов, заключил с ним договор и выдал аванс. Славка вернулся в Москву гордым и неприступным, как Блок на известной фотографии.

И тут случилось такое, что Славке не виделось даже в радужных снах. (Вот оно: деньги к деньгам! ) В адрес театра пришел фирменный конверт журнала «Новый мир» на имя Славки. Новость эта сразу же разнеслась по всем закоулкам театра. «Новый мир» в ту пору был властителем дум, и если уж Славка стал причастен к нему, то, стало быть, и он тот же властитель дум! И как мы его проглядели! И как мы не увидели в своем товарище божественного гения!

Славка не стал скрывать содержание письма, напечатанного на пишущей машинке. И, перечитав его про себя, не удержался, чтобы не утолить любопытство своих товарищей:

«Дорогой Вячеслав!

Я прочитал три Ваших стихотворения. Несколько теплых слов о Вас сказали мне Михаил Светлов и Борис Пастернак. Мне этого достаточно, чтобы поверить в Вашу Музу.

Хочу видеть на страницах нашего журнала серьезную подборку Ваших стихов с последующим их изданием в издательстве «Художественная литература».

Ваш Александр Твардовский».

Народ безмолвствовал. Наконец кто-то робко спросил:

— Из театра уйдешь?

— Там видно будет, — скромно ответил Славка и пошел звонить в Ленинград. Он сказал своему редактору-собутыльнику, что расторгает договор и скоро возвратит аванс, поскольку обстоятельства изменились. Как ни пытался урезонить его многоопытный редактор, Славка жестко стоял на своем: срочно высылай рукопись! Ему ее срочно выслали, и Славка пошел к Александру Трифоновичу. А попасть к нему было очень не просто. Его вечная секретарша не всякого допускала к телу своего шефа. Она внимательно прочитала письмо, напечатанное на фирменном бланке журнала, и пошла доложить о визитере. Через минуту Славку пригласили в кабинет.

— Интересно, — сказал Твардовский, разглядывая письмо, им подписанное. — Подпись моя, но, убей меня, не помню ни вашу фамилию, ни ваших стихов. А уж на хорошие стихи у меня цепкая память. Прочтите хотя бы две строфы.

Славка прочитал первое, что ему пришло на ум. Твардовский нагнул свою крутую голову и сказал:

— Молодой человек, походите по газетам, по журналам — может, кому это и сгодится. А у нас, как вы сами понимаете, совсем другой уровень.

Славка этого не понимал.

— А зачем же вы это написали? — ткнул он пальцем в письмо.

— Это кто-то над вами пошутил. Веселый, видать, человек.

На следующий день Славка обнаружил на примерном столике напечатанную на машинке записку:

«За орден „Льва и Солнца“, который заслужил твой предок на Шипке, нужно платить. Ты пошутил, ответил шуткой я».

Подписи не было. Славка так и не вспомнил, кому он мог выдать тайну бабушкиного сундука. Язык мой — враг мой!

Из театра он ушел и с тех пор стал завсегдатаем Центрального Дома литераторов. Он ходил между столиков в Пестром зале и показывал всем письмо за фальшивой подписью Твардовского, которого к тому времени уже не стало.

— Вот, — говорил он, — единственный человек, который понял меня. А сейчас? Судьи кто? Воробушки серые! Чирик-чирик! — и повторял знакомые слова шукшинского героя: — Прошу плеснуть.

Фанаты Александра Трифоновича не раз предлагали Славке за автограф Твардовского и бутылку, и две, и даже три. Но Славка даже слышать об этом не хотел. Со временем он внушил себе, что подпись корифея и в самом деле настоящая и что его поклонниками и в самом деле были и Светлов, и Пастернак. И это причисляло его в собственных глазах к сонму Бессмертных.

### ***Племяш Ворошилова***

Я за собой странностей не замечал. Да и кто признается, что он «с приветом»? Дураков нет. Ну,

бывает заиграешься (я не о сцене) и уже не думаешь, что из этого получится: ведь в розыгрышах сценария нет, это экспромт, куда кривая выведет. А кривая она и есть кривая в отличие от прямой. Короче, во всем был виноват костюм.

В то время, когда я работал в Центральном детском театре, в магазинах появились черные двубортные костюмы из крепа. Польские. И половина мужского населения Москвы ходила вот в таких вот костюмах. Я тоже, посоветовавшись с женой, решил, что и мне нужно приобрести такой же костюм. К тому же они почему-то стоили не очень дорого. Купил. И вот я в этом новом костюме решил прийти в театр — надо же похвастаться обновкой! Таким нарядным и пришел в театр.

И тут я встретил нашу замечательную актрису, которая, увы, уже ушла из жизни и с которой я проработал много-много лет. И она, посмотрев на меня, спросила:

— Лева, ты чего такой торжественный? Как-то странно тебя видеть в костюме.

Дело в том, что я вообще не люблю ни костюмы, ни галстуки. И тут у меня как-то само собой родилась какая-то еще до конца не продуманная мысль, и я сказал:

— Тоня, давай отойдем в сторону... Дело в том, что... Только, я тебя умоляю, никому ни слова. Тоня, я же знаю, вы, женщины, так любите тут же разнести всякую новость по всему белу свету.

— Что ты, Лева! Никому ни слова, — заверила она.

— Тоня, — сказал тогда я, — Тоня, оказалось, что я — племянник Ворошилова, Климента Ефремовича...

— Как это случилось?

— Сам не знаю... Ко мне приехали люди и сказали, что у меня обнаружился какие-то родственные связи с семьей Ворошиловых. Я оказался самый молодой из

Ворошиловых — я его племянник. И вот меня вызывают в Кремль. Сегодня после репетиции я должен поехать в Кремль, чтобы познакомиться со своим дядей Климентом Ефремовичем. Меня будут ему представлять.

— Как же это прекрасно! — воскликнула Тоня. — Ты представляешь, что у тебя теперь такой дядя! Теперь у тебя будут такие возможности...

— Нет-нет, Тонь, подожди, подожди, — перебил я ее. — Надо ведь еще познакомиться. Может, этот луганский слесарь такой строгий, что... Не дай Бог... Еще ничего не известно... Только, я умоляю тебя, никому, никому!

— Конечно, конечно. Лева! Я ведь понимаю...

И на этом мы расстались. Но буквально минут через пятнадцать все в театре почему-то стали со мной очень вежливо здороваться и даже называть по имени-отчеству вместо обычных «Левка, здорово! ,, «Лева, привет! ». А я в ответ: «Здравствуй... Здравствуй... Здравствуй...» И тут я понял, что всё — началось!

После репетиции я выглянул в окно и... У меня часто так случается, что сами обстоятельства играют на мои розыгрыши. Почему так — сам не знаю... И я увидел, что перед входом в театр стоит огромный черный правительственный «ЗИЛ». А рядом с Детским театром находятся кассы Большого театра, и туда часто приезжают за билетами для гостей и делегаций на правительственных, мидовских и прочих министерских машинах.

Я вышел из главного входа театра и направился к этому «ЗИЛу». Подошел, поклонился водителю (стекло было опущено) и сказал:

— Простите, пожалуйста, я артист Дуров вот из этого театра...

— О! — воскликнул водитель. — Я вас узнал — вы же в кино снимаетесь.



— Да, — сказал я и попросил: — Посмотрите, пожалуйста, на окна нашего театра — там никто за мной не наблюдает?

Тот посмотрел и говорит:

— Там все окна просто забиты людьми. За вами наблюдают, наверное, человек сто.

— Вы знаете, — сказал я, — я вам потом все расскажу. А вы не могли бы красиво помочь мне до конца разыграть эту историю? Я сейчас сяду в вашу машину, и вы отвезете меня чуть подальше.

Шофер оказался догадливым.

— Все понял, — сказал он. — Сейчас.

Он вышел, обошел вокруг машины, открыл мне дверцу и широким жестом пригласил в салон. Мы сели, и машина тронулась.

— Мы сейчас тут кружочек сделаем, и я обратно. Ладно? — сказал шофер. — А то хозяин будет меня ждать.

— Спасибо, мне достаточно, — и в двух словах рассказал ему суть розыгрыша...

Он так дико хохотал, а потом сказал:

— Ну, Дуров, с тебя при встрече причитается — я ведь тоже участвую в этом спектакле.

Мы тепло простились, а вечером я позвонил другу-актеру, спросил, что нового. А он интересуется, как у меня прошла встреча. Я сказал, что все замечательно, все хорошо, и поинтересовался:

— А ты откуда об этом знаешь?

— Здравствуйте! — протянул он. — Да весь театр об этом только и говорит.

И когда я появился в театре, мне сказали:

— Лев Константинович, вас ждет Константин Александрович. — Стало быть, дошло уже до директора — очень грозного человека. Когда он вызывал, артисты шли к нему с большой неохотой: значит, за что-то будет выволочка.

Я зашел к нему в кабинет. Директор встал из-за стола и своим высоким голосом сказал:

— Ну, Лев Константинович, я вас поздравляю. У вас такая радостная новость!

И тогда я спросил:

— Какая?

— Ну, Лев Константинович, перестаньте! Мне-то уж вы можете сказать.

— Константин Александрович, — сказал я, — я вам вынужден признаться: это была шутка, розыгрыш. И все из-за того, что я купил этот дурацкий черный двубортный костюм, который, наверное, годится только для похорон.

— М-да... — сказал директор. — Шутки ваши мне не очень-то нравятся... — И добавил со значением: — Так ведь можно и дошутиться... Ну что, что еще от вас ждать, молодых? Ладно, идите. Племянничек! ..

Я вышел из кабинета. У дверей уже стояла большая толпа.

— Ребята, — сказал я, — делайте со мной что хотите. На колени могу перед вами стать, только простите: я вас разыграл.

Нет, не все на меня обиделись, многие просто замечательно приняли мой розыгрыш и хохотали сами над собой, что попались на такую наживку.

И только тут до меня дошел смысл слов нашего директора:

«Так ведь можно и дошутиться...» В ту пору это не казалось странным.

### ***Леня Коробов***

Леня Коробов был блестящий журналист, замечательный писатель-документалист и отличный

рассказчик. Перед войной, будучи корреспондентом «Комсомольской правды», он брал интервью в Мюнхене у самого Гитлера. А когда в Москве открыли первую линию Метрополитена, он, чтобы взять интервью у Сталина, прорвался через цепь охраны, впрыгнул в вагон вслед за Сталиным и Кагановичем, и дверь за ним закрылась. Чекисты остались с носом.

Оказавшись лицом к лицу с вождем всего прогрессивного человечества, Леня во избежание недоразумений вытащил корреспондентское удостоверение, представился и сразу же взял быка за рога.

— Товарищ Сталин, — спросил он, пряча удостоверение и налаживая свой старенький фотоаппарат «лейку», — пожалуйста, ваше впечатление от метро?

Сталин поднял бровь и покосился на Леню.

— Харашо работаешь, камсамолец. И как это тэбя нэ прыстрелили? — удивился.

Леня не смутился — это был настоящий журналист: наглый и настырный.

— Значит, товарищ Сталин, метро вам понравилось?

— Паслушай, пачему ты мэня спрашиваешь? — начал раздражаться вождь всех народов. — Я здэсь хазяин? Я нэ хазяин. Здэсь таварищ Каганович хазяин. Вот у нэго и спрашивай.

Но спросить у товарища Кагановича Леня не успел. Поезд остановился у первой станции, и его под белые руки вывели из вагона двое в штатском.

В то время Леня был членом Осоавиахима (Общество содействия обороне, авиации и химическому строительству). Учился летать и прыгать с парашютом. Один из воздушных парадов в Тушине открывало звено истребителей, которое вели представители трех поколений советских летчиков: Росинский — участник гражданской войны, Чкалов — легенда 30-х годов и

Леня Коробов — будущее отечественной военной авиации. Говорят, Сталин остался очень доволен такой задумкой устроителей парада.

Потом, много лет спустя, когда Росинскому исполнилось девяносто лет, он вступил в партию. Леня встретил его в одном из арбатских переулков, где тот жил в собственном рубленом доме, который, как он говорил, ему подарил лично товарищ Ленин.

— Дед, — спросил Леня, — чего это ты вдруг на старости лет в партию вступил?

— А-а, это ты, трёкало? — старый летчик уже плохо видел и слышал. — Вот ты окочуришься, и тебя поволокут на какое-нибудь Востряковское кладбище. А мое место теперь только на Новодевичьем.

— Так ты, оказывается, кладбищенский карьерист!

— Дурак, — сплюнул в бороду старик. — Меня еще Ленин назвал дедушкой русской авиации!

— Какой Ленин? — тут у Лени выиграло профессиональное честолюбие. — Это я тебя так назвал в «Комсомолке» после того тушинского парада! Забыл, что ли, старый?

Росинский еще раз сплюнул и отвернулся.

— Как ты был Леня-ка-трёкало, так им и остался, иди отсюда...

А вскоре Росинский и преставился. И неизвестно, где его похоронили.

С первых дней войны Леня — военный корреспондент в действующей армии. Случилось так, что во время одного из боев комбат струсил и пытался бежать. Леня пристрелил его и повел батальон в атаку. Бой был выигран, а Леню за этот подвиг наградили орденом Ленина. После этого он четыре раза перелетал линию фронта и выбрасывался с парашютом в расположении партизанского соединения Ковпака. Пятый перелет мог стоить ему жизни.

На этот раз Леня выбросился в районе лагеря Дмитрия Медведева, того самого, который опекал легендарного разведчика Николая Кузнецова и впоследствии написал замечательную книгу «Это было под Ровно». Леня скрыл от Медведева, что прилетел со своей неразлучной «лейкой». Иначе ее просто бы разбили. Появляться с фотоаппаратом в строго засекреченном лагере? С ума сойти! Но Леня никак не мог позволить себе упустить такой редкий случай и не сделать хотя бы несколько снимков. И он их сделал.

Он выбрал небольшой холмик, с которого весь лагерь был виден как на ладони, залег на нем и стал выбирать «сюжеты». Он щелкнул несколько партизан, которые отдыхали у стога сена с автоматами на груди, еще несколько жанровых сценок и тут увидел потрясшую его картину: в лагере появился сам Николай Иванович Кузнецов в форме немецкого оберлейтенанта. К нему подошел улыбающийся Медведев, они пожали друг другу руки (эту сцену и запечатлел фотообъектив) и обнялись.

Тот, кто видел фильм «Подвиг разведчика», конечно же, запомнил образ главного героя, прототипом которого и послужил Николай Кузнецов. Он погиб в 1944 году в стычке с бандеровцами.

После войны Леня стал готовить книгу воспоминаний и показал те старые снимки Медведеву. Когда Дмитрий Николаевич увидел их, его чуть не хватил удар. Он долго молчал, а потом перевел дух и сказал:

— Ленька, ты сволочь... Жаль, что ты не попался мне с «лейкой» в лагере. Ты хоть представляешь, что было бы, если б самолет подбили и пленка оказалась у немцев?

— Как только мы взлетели, я положил кассету в рот, — объяснил Леня. — Если бы что, я б ее разгрыз.

— И зачем я пустил журналиста в лагерь! — не мог успокоиться Медведев, но потом остыл. — Да-а, этим снимкам цены нет. Уникальные снимки! И все же, если бы ты попался мне с ними тогда, не обижайся, но я бы все равно тебя пристрелил.

Но, слава богу, все обошлось, и Леня умер своей смертью. Он много работал. Из-под его пера не выходили эпохальные романы — он ограничивался небольшими документальными повестями. Он не вылезал из дома до тех пор, пока не заканчивал очередной опус. И только после этого шел «спускать пар». У него были сотни друзей и приятелей во всех газетах, журналах и издательствах. Он всех любил, и его все любили, поэтому и обращались к нему просто: Леня. Многие из его собратьев по перу даже и не знали его отчества. Да и выглядел он моложаво: сухощавый блондин, живой, подвижный и всегда веселый.

«Спускать пар» Леня начинал с комбината «Правда» и уже оттуда постепенно продвигался к Ленинскому проспекту — к своему дому. Последней его точкой был журнал «Библиотекарь», который располагался во дворе Ленинской библиотеки. Сюда он заявлялся «на бровях» и отметить встречу с соратниками уже, как правило, не мог. Друзья сажали его на такси и транспортировали к родному очагу.

Эти выходы «в люди» не остались незамеченными. Леня сперва пытался оправдываться: мол, когда он работает и неделями не высовывается из дома, его никто не видит, а стоит только расслабиться, как тут же начинаются укоризны. Наконец, когда ему надоело объясняться, его вдруг вызвал к себе Генеральный секретарь Союза писателей Александр Фадеев и стал стыдить и говорить что-то о моральном облике писателя... Леня выслушал его внимательно и вздохнул.

— Сан Саныч, — сказал он, — ведь невозможно работать. Я живу напротив Даниловского кладбища и из

окна вижу висо-окою трубу... Ведь хочется написать что-то оптимистическое, в духе социалистического реализма. И только сосредоточишься, как из трубы: пфф! — клуб черного дыма. Вот и еще одного человечка нет... Ну где ж тут заразиться трудовым пафосом?!

— Хорошо, — успокоил его Фадеев, — я попрошу, чтобы тебе помогли сменить квартиру.

И действительно помог. А через два-три месяца ему снова докладывают: никак не утихомирится ваш Коробов и на новой квартире! Фадеев осерчал и снова призвал Леню к себе. И опять Леня выслушал внимательно горячую проповедь писательского начальника, и опять вздохнул.

— Сан Саныч, — сказал он, — ведь невозможно работать. Из своего окна я вижу висо-окою трубу...

— Хватит про трубу! — оборвал его Фадеев. — Ты мне о ней уже рассказывал.

— Нет, Сан Саныч, — мягко возразил Леня. — То я рассказывал про трубу Донского крематория, а это другая труба — на Хованском кладбище. Теперь я вижу из окна ее.

— Идиоты, — тихо выругался Фадеев и стал кому-то звонить.

Через некоторое время Лене дали квартиру — на Ленинском проспекте. Теперь друзьям было удобно транспортировать его до дома: недалеко и все время по прямой. А Леня сохранил о Сан Саныче самые теплые чувства.

Как-то он пришел в ресторан Центрального Дома литераторов, подсел к товарищам за столик и долго молчал.

— Что-нибудь случилось? — спросили его.

— Случилось... Несправедливость случилась. Был я сейчас на Новодевичьем — по ребятам соскучился. И ходил я между могилками, ну как вот здесь между столиками хожу. Знакомые все лица! Вот сидит...

виноват, улыбается мне с портрета Григорий Маркович Ярон. Какой артист был! А вот... Да, Господи, всех рассадили... виноват, положили рядышком, чтоб не скучно им было, чтоб можно словом переброситься. А Сан Саныча-то за что. В уголок, отдельно от всей компании. Как будто все они сейчас не равны перед Богом. Обидно! ..

### ***Полет орла***

Первыми диссидентами в нашей стране были три студента школы-студии МХАТ: Петр Фоменко, ставший потом известным режиссером, спектакли которого с успехом идут и у нас, и за рубежом, Саша Косолапов и Гена Павлов, который потом стал режиссером на телевидении.

Они не были политическими диссидентами — они первыми выразили некий протест против того зашоренного общественного регламента, по которому жили люди. Он их бесил, и они придумали свой образ жизни, свои нормы поведения.

Когда они входили в школу-студию, то поднимали руки (а у каждого тогда был фибровый чемоданчик с книжками, тетрадками, полотенцем и всякой мелочью), роняли чемоданчики, бежали вперед животами, ударялись ими друг о друга, падали навзничь, лежали несколько секунд, потом вставали и дули друг на друга. А когда они дули на кого-то, то это означало, что они уважают его. И шли на лекцию.

Они никогда не улыбались. И уже не могли играть нормально отрывки из любого автора, будь то Шекспир, Островский — не имело значения. Они читали текст с мертвыми лицами, на сцене дули на своих партнеров, и



все это производило странное впечатление. Очень странное.

Петю Фоменко отчислили, Саше Косолапову вроде дали закончить школу-студию, и он тут же поступил в театр им. Станиславского. Это был высокий роскошный брюнет, очень красивый. И вот премьера спектакля, в котором Саша играл главную роль. Саша выходит на сцену и не говорит ни слова. Вообще он был непонятным человеком: никогда нельзя было понять, сколько в нем «сидит» — или вообще ничего, или литр. Это не отражалось ни на его лице, ни на речи, ни в жестах.

Так вот он вышел на сцену и молчит. Партнеры стали подсказывать ему текст. Саша молчит, опять подсказывают, опять молчит, потом тихо говорит:

— Да замолчите вы! Все я прекрасно знаю...

Вышел на авансцену и уже громко в зрительный зал:

— Скажите, вам не стыдно это смотреть? — Повернулся к своим партнерам и спросил: — А вам не стыдно это играть? Занавес закройте, пожалуйста.

А они должны были играть какую-то современную пьесу. Разразился жуткий скандал, который кончился тем, что по всем театрам Советского Союза было разослано предписание: артиста Косолапова не принимать на работу ни в коем случае. Как актер он пожизненно дисквалифицировался за хулиганские действия на сцене.

Потом оказалось, что Саша — прекрасный художник-иллюстратор. Он выпустил массу книг со своими изумительными рисунками.

Как-то я встретил его на улице. Он шел, махая руками, как крыльями, имитируя полет орла и чуть подпрыгивая, как птица при разбеге. То ли он начал играть, когда увидел меня, то ли он все время так шел — не знаю.

Я сказал:

— Саша, здравствуй!

Он что-то пробормотал невразумительное:

— А...а...а... — и показал ребром ладони на свой рот. — Нет-нет-нет, Левочка! Боюсь, что я расплескаю... Я полетел!

И он «полетел» дальше. Вся улица с изумлением смотрела на него.

Но было это много позже. А когда мы учились в школе-студии МХАТ, эта тройка вытворяла черт знает что. Вдруг кто-то прибегает и говорит:

— Ребята, на улице Горького скандал: наши там такое вытворяют! .. Их сейчас заберут в милиции!

Мы, конечно, бежим туда и видим: на трех липах на улице Горького сидят наши добры молодцы. Они по-настоящему жрут кору, а милиционеры пытаются стащить их с деревьев. Саша Косолапов отбрыкивается от них ногой и бормочет: «Не троньте меня! Не мешайте! Я белочка! Я белочка! Я голодная белочка!» — и продолжает жрать кору.

Петя Фоменко верещит:

— Я зайчик! Я зайчик! Не трогайте меня — я голодный бедный зайчик!

Гена тоже что-то выкрикивает и жрет кору.

Их все-таки стащили и, как мы ни просили не забирать ребят, их увезли в «полтинник» — известное 50-е отделение милиции. Мы побежали туда. Не прошло и нескольких минут, как их выпустили и милиционер сказал:

— Всё-всё-всё! Сейчас их развезут по домам, и — всё!

Оказалось, что в кабинете начальник обвинил их в том, что они создали аварийную ситуацию на проезжей части центральной улицы Москвы. «Что вы вытворяете, сукины дети?!» — стыдил он их. Те молча и тупо смотрели на него, и он растерялся. Потом они все трое

синхронно ударились затылками о стену, наклонились над столом и выпустили огромную лужу слюны. Начальник заорал на своих подчиненных:

— Не видите, кого вы мне привезли?! Они все больные! Развезите их по домам! Мне что, за них отвечать?

Ребята подули-подули на этого начальника, сели в милицейскую машину, и их развезли по домам.

Прошло какое-то время, и опять кто-то прибегает и кричит:

— Ребята, выручайте! Будет большой скандал!

Мы снова бежим на улицу Горького и видим: Саша Косолапов лежит посреди дороги на животе и расставляет поперек проезжей части аптечные пузырьки. Где они их взяли, не знаю. У Гены Павлова был огромный мешок с этими пузырьками. Он доставал их по одному и передавал Саше, а тот перегораживал ими улицу Горького. А Петя Фоменко руководил уличным движением:

— Товарищи, товарищи, обходите, пожалуйста! Машины, объезжайте, объезжайте! Мы берем пробы воздуха! Берем пробы воздуха!

Пешеходы обходят, машины тормозят или объезжают. Ребята так убедительно разыгрывали эту сцену, что им нельзя было не поверить: люди действительно занимаются серьезным делом. И когда поток машин запрудил улицу и движение прекратилось, Саша и Гена разбросали эти пузырьки ногами и стали кричать:

— Всё, товарищи! Движение открыто! Проезжайте, проезжайте!

Никто ничего не понял, что произошло и где милиция. А они, довольные тем, что закончили такую сложную работу, спокойно пошли гулять.

А история, которая с ними случилась в 1951 году, могла закончиться очень даже плачевно.

Секретарем комсомольской организации у нас был Шестаков, ленинградский парень, настоящий долдон. И эта тройка очень его не любила. А Шестаков носил огромные ботинки, кажется, 46-го размера. После занятий он ставил их у шведской стенки и спрыгивал с нее прямо в стельки. И однажды после танцев, как обычно, Щербаков спрыгнул в ботинки и — замер. Потом сказал:

— Я все понял: это политический выпад...

Он пошел к директору студии Радомысленскому и сказал:

— Они мне написали в ботинки как комсомольскому вождю. Это политический выпад.

И Радомысленский вызвал проказников к трем часам к себе в кабинет. И вот ровно в три часа Гена распахнул дверь Радомысленского, и Фоменко с Косолаповым в позе «Рабочего и колхозницы» большими скачками подскочили к столу директора и сказали:

— Именем Сталина клянемся, что не мы писали Шестакову в ботинки!

А ведь Сталин-то еще был жив! Радомысленский потерял дар речи, понял, что он уже в Сибири и ребята эти в Сибири. («Что здесь у вас за воспитание?! Что это за работа проводится с молодежью?!») И он уже представил себя на руднике, закованным в кандалы, добывающим уран или еще что-то такое ужасное. И он обреченно сказал:

— Вон...

Ребята подули на него и опять же скачками выскочили в коридор.

Радомысленский не выходил из кабинета, наверное, часа два, — видно, решал, что с ними делать. Он понимал, что, если предаст это гласности, его тоже нет вместе с ними. И он принял мудрое решение: сделал вид, что вообще ничего не было, ничего не произошло.

Не было — и все! Таким образом, все остались живы и здоровы.

И вот несколько лет назад я встретил уже известного режиссера Петра Фоменко на улице. Он страшно обрадовался:

— Левочка, как я рад тебя видеть!

Мы обнялись, поговорили о делах, и пришло время нам прощаться. Я пожелал Пете успехов, он пригласил меня на свой спектакль, сказал «прощай». Потом неожиданно снял с ноги ботинок и кинул его вверх. Ботинок описал дугу и упал на карниз над вторым этажом.

— Петя, — сказал я, — что ты делаешь?

— Левочка, — воскликнул он, — это все равно не омрачит мне встречу с тобой!

И в одном ботинке пошел по улице, помахал мне рукой и завернул за угол.

А ведь со студенческой поры прошло столько лет! ..

## ***Искушения***

Одна пышнотелая вдовушка в цветущих годах — кровь с молоком, — которая снималась у нас в массовке, решила мне исповедаться. Почему — мне? А бог ее знает! Может, решила, что я самый серьезный человек из всей труппы.

— Вот, Константиныч, — начала она со вздохом, — ты только не смейся, я серьезно. После смерти Ванечки моего, который вот уж как год утоп, царствие ему небесное, повадился ко мне нечистый...

— Черт, что ли? — попытался я уточнить.

— Чур тебя! — замахала руками вдовушка. — И не поминай это поганое имя... Ну этот... с рогами, с копытами... и с хвостом...

— А-а! — притворился я дурачком. — Козел, что ли?

— Да нет! Серой воняет... Ага?

— Ага, — сказал я.

— Понял? Только когда он искушает, не в своем обличье появляется. Впервой появился в обличье солдата. У нас тут военная часть стояла, так он будто бы оттуда. Три ночи подряд приходил. Мучил меня, спать не давал. Потом я окропила все углы в избе святой водой, и он пропал. А тут мне сказали, что и часть эту военную куда-то перевели. Одно к одному... И вслед свеклу надо было убирать с полей. Прислали нам в помощь студентов с городу. Так этот, который с хвостом, принял обличье студента. Славный такой студент, только заморенный больно. И вот, веришь ли, знаю, что нечистый, а прогнать не могу — язык будто одеревенел. Видно, сила в нем была такая, что моя пересилить ее не могла. Потом студенты уехали, и нечистый будто растворился... В печника еще как-то обратился. Но тот вроде привиделся, да наутро и сгинул.... — она горестно покачала головой и вдруг с какой-то тайной надеждой спросила: — Слышь, Константиныч, а случаем нечистый не может принять обличье артиста?

— Так артистов самих издревле считали нечистыми, — ободрил я ее. — Одно слово — скоморохи.

— Вот и я о том, — успокоилась вдовушка. — Мне ведь лишь бы заранее знать, как и что. Так-то спокойнее, — и засмеялась. — А все ж они забавные, эти черти, хоть и нечистые! Тьфу, оскоромилась, баба болтливая! ..

***Ноги ухватом***

— Эх, Константиныч! — сказал мне мужик из массовки. — Я ведь тоже сызмальства-то хотел в артисты податься. Да вот ноги у меня ухватом, да и буквы я не все выговариваю. Меня еще в школе учитель срамил: «Почему ты говоришь „хворточка“, а не „форточка“?» А я ему: «Потому что я ту букву не выговариваю». А он мне: «А что же ты вместо „хватит“ говоришь „фатит“? И смех и грех! Я уж и лечился — целых десять лет. Семь из них — в тюрьме. Ни хрена! Слышь, Константиныч, а может, ты знаешь, что нужно делать, чтобы был хороший дефект речи? А как можно исправить неправильные черты ног? Да хрен с ним — теперь уже поздно... Да и семья. У меня есть жена, если можно так выразиться. Все хорошо. Пьяницей я никогда не был и не буду, если не сдохну. И профессия у меня хорошая: сутки работаю — двое дома... А все-таки обидно. Жизнь прошла. И почему мать не родила меня скотиной? Давно бы зарезали...

### ***Профессор***

Однажды случилось так, что мне пришлось заночевать в одной деревеньке под Рузой. Уезжая, режиссер попросил председателя колхоза устроить меня в какой-нибудь «чистой» избе, — чтоб, стало быть, без клопов и тараканов.

— Есть такая! — сказал председатель. — Я вас отведу к профессору. Кстати, ему приятно будет поговорить с настоящим москвичом. А то он говорит, что мы, серые, его не понимаем. Он у нас эрудит.

Мне показалось неудобным стеснять какого-то профессора.

— Да какой он профессор! — засмеялся председатель. — Это его наши деревенские так

прозвали. А на самом-то деле он бывший секретарь сельсовета.

Через полчаса я уже был в чистенькой небольшой избе с горницей и спальenkой. Хозяин, похожий на киношного деда Щукаря, очень даже обрадовался, когда узнал, что у него будет ночевать настоящий московский артист.

— Вот подарочек-то! Вот как хорошо! А то ведь в этой Амазонии и поговорить-то не с кем.

— Я вас не стесню? Как вы себя чувствуете? — спросил я, потому что хозяин слегка поморщился и почесал поясницу вилкой.

— Я себя чувствую, но плохо, — и он показал мне в улыбке оставшиеся зубы. — В метафоре я представляю собой мешок с болезнями. Я не старый на вид, но трухлявый на здоровье. Был бы я полноценным мужчиной, как было бы хорошо и мне и окружающим. А так я ушел в свои болезни целиком, даже перестал платить страховку.

— Вы один живете?

— Как перст. Кому я нужен? У нас ведь всегда не востребованность в умах. Хотите, изложу вам свое реноме по этому поводу? Так вот, лет десять назад, а может, двадцать, у меня перестал работать сексуальный аппарат, и с тех пор он у меня в летаргическом состоянии. Да что ж это я! — спохватился вдруг хозяин. — Я ведь чай собирался пить. Вот вкупе и попьем.

Он засунул вилку за пояс, быстро накрыл стол, и мы стали чаевничать. А он все говорил, говорил и говорил, не переставая:

— Я думал, что страдаю половой слабостью по месту жительства. Ан нет! На периферии у меня тоже ни с кем не получалось анатомической близости. А до того мне врачи дали диагноз, что я не могу иметь детей. Мой знакомый кожевенный врач сказал, что это потому, что



я носил безразмерные трусы. Жене мое бесплодие не понравилось, потому как ей уже начали сниться дети. Я хотел достать искусственные зародыши хорошего качества и проросшие. Да разве найдешь их в наших аптеках! И со стороны жены на меня начались разные гонения. Она стала оскорблять меня алкогольными прилагательными полового значения. А ведь раньше и слов-то нецензурных не знала. Это, говорила, оттого, что ее мучают адские боли в области человека и личности. А я думаю, что это от отсутствия у нее правильного полового воспитания. Я посоветовал ей ставить прививки от полового сношения или обратиться к врачу по головному мозгу. Тогда она брякнулась, и ее стало бить. А когда пробило, она встала и заявила, что если я не перестану чесаться и храпеть, то она уйдет из родного очага. Ей нужно было найти причину, а следствие она уже придумала. У меня действительно привычка чесаться, причем не рукой, а вилкой. Но я ж никому не мешаю! А чтоб не храпеть, я обращался к врачу нос-глаза, пробовал спать в противогазе — ничего не помогло. И она ушла. Этот ее поступок осветил красной нитью весь лейтмотив ее жизни. Хочу вот найти какую-нибудь старушку, попутчицу по жизни, но никто не реагирует на мой зов, который я периодически испускаю во все концы. Долготерпение отчаяния — вот оригинальный портрет мой жизни! Хорошо еще, что я не дал нервному потрясению полную свободу действий. А бывшая моя похудела, осунулась и вся ушла в плечи. Совсем потеряла свои очертания. А ведь когда-то Лаперузой ходила и была не только носителем красоты и кокетства. Правда, я ей мою любовь никогда наружно не показывал... Да разве мало было в жизни элементов сожаления! И не надо теперь доказывать ху есть ху. Поздно! Конечно, дети — это клеветы в оранжерее нашего общества, которое должно их любить и ухаживать. Но что поделаешь, если мы всегда

испытываем неуверенность в отсутствии ясности! Это беда всего русского характера...

Я почувствовал, что медленно сдвигаюсь по фазе. Перед глазами поплыли проросшие зародыши с головами деда Щукаря, старушки, потерявшие свои очертания, кожевенные врачи с гвоздодерами в руках, и я чуть не упал с табуретки. «Еще слово, — подумал, — и я его стукну чем-то тяжелым», но хозяин вдруг замолчал. Наверное, я сменился в лице, потому что он нагнулся ко мне и шепотом спросил:

— Как вы себя чувствуете?

— Я себя чувствую, но плохо, — сказал я, подхватил свою сумку и бросился вон.

Ночевал я в прошлогоднем стогу. Профессора больше не видел.

### ***Анархия — мать порядка***

Как-то проходил я с приятелем-журналистом мимо метро «Кировская». А он мне и говорит:

— Послушай, хочешь, я тебя познакомлю с настоящим анархистом? Ведь ты их небось только в кино видел? А доведись тебе играть роль анархиста...

— Да знаю! — отмахнулся я. — Сейчас, куда ни плюнь, так и попадешь то в графа, то в князя, то в анархиста. Раньше где были?

— Зря ты так, — обиделся журналист. — Иван Егорович Мокин настоящий, убежденный монархист. Ученик Петра Алексеевича Кропоткина, теоретика анархизма, весьегонский сослуживец легендарного генерала Тодорского.

Господи, с трудом вспомнил я, это же, кажется, связано с гражданской войной!

— И сколько же годков твоему анархисту?

— Восемьдесят пять. Но ты не беспокойся — он резвей тебя.

Мы купили чай, сахар и много печенья. Как сказал приятель, Мокины ни в чем больше и не нуждаются.

Через десять минут мы уже звонили в квартиру анархиста.

Дверь нам открыл сам хозяин — подвижный, маленький, сухонький, с выцветшими голубыми глазами. Голова его была как-то небрежно повязана цветастым ситцевым платочком, завязанным под подбородком. Из-под него светилась розовая лысинка, и все лицо его было розовеньким, как у младенца. Светился даже маленький носик пуговкой. Под стать была и его супруга — два этаких божьих одуванчика, дунь — и полетят по комнате белые пушинки. Киношный образ анархиста — громилы в тельняшке и с маузером в кобуре — сильно померк в моем воображении.

И еще меня поразило обилие книг: они свешивались с полок, торчали из каждого угла, громоздились на стульях, табуретках, тумбочках. И только на письменном столе самого Ивана Егоровича лежала единственная книга в черном переплете — «Записки революционера» Петра Кропоткина. Бывший весьегонский «четырёхэтажный» комиссар (комиссар торговли, промышленности, обложения и труда) так до гробовой доски и не изменил своим убеждениям. А дожил он до девяносто одного года.

Незадолго до его кончины по просьбе старых большевиков Мокину решили дать персональную пенсию вместо обычных двадцати трех пенсионных рублей. А чтобы соблюсти формальность, его попросили прийти на бюро райкома партии — коммунистической, конечно. И вот тут-то один из благодетелей (из уважения к старику) заявил, что Мокин всегда работал бок о бок с Советской властью на ответственных постах,

а что касается его увлечений молодости, то с возрастом они проходят и, мол, кто не переболел ложной романтикой анархизма.

Если б у старика Мокина был тогда маузер, он, не задумываясь, вlepил бы этому своему «защитнику» пулю в лоб. Он вскочил и белыми от бешенства глазами обвел членов бюро.

— Оглянитесь на себя! А я не меняю свои убеждения, как перчатки! — и сильно хлопнул дверью.

Персональную пенсию ему все равно дали: не стали молодые большевики афишировать, что старый анархист поставил их к стенке.

Немного не дожил Иван Егорович до того дня, когда его благодетели сменили перчатки в очередной раз. В последний ли?

А я подумал вот о чем. Так ли уж странен убежденный монархист Мокин, отказавшийся от персональной пенсии, чтобы только подтвердить эти свои убеждения? И не более ли странны те твердокаменные воинствующие атеисты, которые на своих «убеждениях» сделали карьеру, а ныне смиренно стоят в божьих храмах со свечами в руках?

Не знаю, не знаю...

### ***Язык мой — враг мой***

В конце 70-х известного поэта («Бьется в тесной печурке огонь») секретаря Союза писателей Алексея Суркова пригласили в Центральный Дом работников искусств прочитать лекцию о состоянии современной советской литературы. Тогда все «ответственные работники», как себя называли партийные функционеры, чтобы отличаться от остального безответственного быдла, выступали по бумажкам.

Даже именитые писатели, приписанные к райкомам, обкомам и ЦК. Мало ли что язык ляпнет в пылу откровения! И тогда в одно мгновение можно стать и сырым и убогим. А Алексей Александрович, кроме всего прочего, был кандидатом в члены ЦК и депутатом Верховного Совета. С одной стороны, он чувствовал себя всесильным, а с другой — помнил, что и не таких по стенке размазывали.

Начал он по бумажке — с выражением, с чувством. «Советская литература, — читал он, — всегда была примером для всех прогрессивных писателей мира; она всегда высоко несла знамя гуманизма; угнетенные и оскорбленные всех частей света припадают к ней, как к живительному источнику...»

Он поднял от бумаги глаза и увидел, что половина зала зевает и с тоской смотрит на часы. Наверное, ему и самому стало стыдно за текст, который ему склеили из передовиц «Правды».

И в какой-то момент осторожность ему изменила. Наверное, он подумал: что это я? Кругом знакомые все лица — писатели, артисты, художники. Могу же я им как товарищам по искусству, черт побери, сказать правду?

И его понесло.

— Все это так, — сказал он и раздраженно добавил: — И совсем не так! Ну назовите мне хотя бы одно произведение в любом жанре, которое в последние годы вам бы запомнилось! Ничего! Пустота! В прозе серость, халтура, конъюнктура. В поэзии выморочная блажь. В драматургии сопливая бесконфликтность. Что там еще?..

И тут Алексей Александрович, к ужасу своему, увидел, как рядом с официальным микрофоном из-за трибуны медленно поднимается другой — маленький, незнакомый. Сурков изменился в лице, обвел зал бессмысленным взглядом и глухо сказал:

— В этом меня пытаются убедить некоторые наши неблагожелатели на Западе, — и снова его голос обрел уверенность. — А я утверждаю: советская литература покоряет одну вершину за другой. Ей нет равных... Все прогрессивное человечество... — и уверенно покатыл по тексту.

Подозрительный маленький микрофон медленно скрылся за трибуной. Девяностолетняя Мариэтта Шагинян, которая уже плохо слышала, убрала свой слуховой аппарат, как только поняла, что ничего нового Алексей Александрович так и не скажет.

### ***Щукин и Щуренок***

Когда я работал в Центральном детском театре, у нас была невероятно интересная закулисная жизнь. Я уж писал в своей первой книге об «Академии травильщиков», президентом которой я периодически бывал. И была компания, мягко говоря, бражников. И вот что интересно: я проработал в этом театре девять лет, и, кажется, единственный раз ставился вопрос об аморалке. А директор театра Константин Шахазизов был необычайно строгим, и оказаться у него в кабинете «на ковре» не предвещало ничего хорошего. Он был сторонником жесткой дисциплины. Но у нас никто и никогда не позволял себе появиться на репетиции, и уж тем более на спектакле, даже с запахом. Пили как-то красиво, я бы даже сказал, художественно.

И был у нас великолепный артист Анатолий Щукин, который прекрасно играл царя в сказке «Конек-Горбунок». Жена Толи, Тося, крупная мужеподобная женщина, владела мастерской по реставрации и ремонту старинных фарфоровых изделий: посуды,

безделушек, игрушек — кукол с закрывающимися глазами, кричащих «мама», поющих.

Толя часто помогал жене в работе. А у нее был гравировальный станок. И вот он умудрился сделать уникальный стакан, на который нанес риски. А риски обозначали: пол-литра на троих, пол-литра на четверых, пол-литра на восьмерых и т.д. Этот стакан стоял у него за трельяжем в гримуборной. И вот после спектакля «бойцы», как они сами себя называли, собирались, в соответствии с дозировкой выпивали и закусывали водой из-под крана.

А еще у Толи с Тосей был сынок, которого мы звали Щуренок, шибко настырный и очень умненький мальчик. Он очень любил играть со взрослыми в шахматы и очень не любил проигрывать. И когда видел, что проигрывает, начинал разбрасывать с доски фигуры и истерически кричать:

— Нет! Нет! Нет! Я выиграл! Я выиграл! Я победил!

Все это знали и, чтобы не доводить его до истерики, играли до критического момента и старались быстро ему проиграть.

А однажды Толя приходит и вполне серьезно говорит:

— Ну этого Щуренка я, наверное, убью.

— В чем дело, Толя?

— Ну вы представляете, мы пошли покупать ему пальто. Он увидел пальто какого-то песочного цвета и пристал: купите мне именно это! Я говорю ему: это светлое пальто, ты его извазюкаешь во дворе мгновенно. Ведь вы играете в футбол, носитесь по горкам — от него на следующий же день ничего не останется. «Вот хочу это пальто!» И мы купили ему это песочное пальто. Дома он надел его и сказал, что идет гулять. А я стал смотреть из окна во двор. Напротив подъезда чернела огромная грязевая лужа, через которую была переброшена доска на кирпичиках. И я

понял, как только Щуренок выскочит из подъезда, он, конечно, побежит по этой доске, конечно, посредине доска перевернется, конечно, он плюхнется в эту страшную грязевую лужу, и, конечно, это пальто фактически исчезнет. Так оно и случилось. В подъезде распахнулась с грохотом дверь. Щуренок вылетел во двор, прямой наводкой прыгает на эту доску, добегает до середины, доска переворачивается, он, башкой вниз, исчезает в этой грязевой луже, встает в образе страшной черной скульптуры и с криком и ревом влетает опять в подъезд. Врывается на кухню и кричит:

— Я говорил, не нужно песочного пальто?! Я говорил, надо купить темное пальто?! Во дворе черт знает что творится! Зачем вы мне купили это песочное пальто?

В другой раз Толя угрюмо сказал:

— Я его чуть не зарыл...

Они отдохали тогда где-то на юге. А рядом с общим пляжем располагался женский. И граница между ними была очень условная. Никто из мужчин как бы не обращал внимания, что рядом ходят голые дамы. И вот Толя лежит с Щуренком на общем пляже, Тося — на женском. И вдруг Щуренок орет:

— Папа, папа! А вон наша мама!

Все мужчины на общем пляже встали и стали смотреть на голую маму, которая шла к воде. Толя чуть не зарыл этого Щуренка в песок.

Умненький был мальчик. И в кого бы?

И вот Толя как-то приходит и говорит:

— Все, ребята, завтра пропадает день, и я с вами не встречаюсь в «Маленькой Неве».

А это был такой маленький закуточек в ресторане «Нева», где эти «бойцы» выпивали. Они шли гуськом через зал, по пути брали у кого-нибудь со стола маленький кусочек хлеба так элегантно, заходили за кулисы и просили:



— Тетя Клава, «перцовочки».

Они брали эту настойку потому, что она была дешевле водки. А у тети Клавы была присказка:

— Перцовочки-хреновочки — водку будете пить, — и наливала всем по сто грамм водки.

Они выпивали и отщипывали от кусочка хлеба крохи — это была у них вечерняя трапеза.

И поскольку Толя предупредил, что завтра день пропадает, у него спросили:

— И что же ты будешь завтра делать?

— Культурно проводить время. Тося сказала, что всей семьей вместе со Щуренком идем в Парк культуры, — а они жили недалеко от парка. — Никаких выпивок, все кончено. День пропал.

А после спектакля, вечером, он зашел в магазин, купил несколько четвертинок и по дороге домой зашел в Парк культуры. Он приблизительно знал, по какому маршруту они будут гулять. У дерева он прикапывал четвертинку, а на асфальте рисовал мелом стрелку. Так он по всему парку и прошелся.

А в воскресенье Тося проснулась радостная, Щуренок тоже — наконец-то все в порядке, и они культурно отдохнут. Никаких друзей, никаких компаний.

И вот они степенно идут по аллее. Толя видит стрелку.

— Ой! — говорит. — Идите вперед — у меня шнурок развязался.

Тося со Щуренком идут вперед, а Толя откапывает четвертинку, отпивает, а остальное опять прикапывает. Идут дальше. И тут Толя видит Колесо обозрения.

— Ой, — говорит, — интересный аттракцион! Пойдите узнайте, там очередь большая или нет.

Жена с сыном идут узнавать, а он опять идет по стрелке. В общем, через час Толя захорошел, а жена не поймет, что случилось.

— Толя! Когда ты успел? Где?

И Толя возмутился:

— Вот, ты всегда меня упрекала в увлечении напитками! А я и не выпивал — это кислородное отравление! Мне нельзя вообще выходить гулять на природу! Чем мы на сцене дышим? Пылью, пудрой, прожекторы светят в глаза — вот что такое театр! А ты меня вытащила на свежий воздух — и вот видишь: я умираю!

Тося под руку отвела его домой и уложила в постель. А на следующий день он пришел в театр и сказал:

— Ребята, по-моему, стрелок в парке осталось еще много.

И мы вечером гурьбой пошли искать стрелки. Из парка мы вышли веселые, и даже излишне.

Вот такой был Толя. А как-то он отзывает меня в сторонку.

— Левочка, скажи мне, пожалуйста, вот когда я умру, ты будешь вносить деньги на мой венок?

— Ну что ты болтаешь глупость! — возмущаюсь. — Во-первых, ты никогда не умрешь а, во-вторых...

— Нет, — перебивает, — ты подожди, подожди! Я тебя серьезно спрашиваю: будешь вносить?

— Да отстань ты от меня! — и чтобы отвязаться, говорю: — Ну буду!

— А сколько ты будешь вносить?

— Ну отстань! — этот разговор начинает меня раздражать.

— А все-таки сколько? — не отстает Толя.

— Ну хорошо. Я внесу двадцать пять рублей.

— Отлично! — радуется Толя. — Дай мне сейчас пятнадцать, а потом вносить не будешь.

Ну что с ним делать!

А однажды заходит в примерку и говорит:

— Ребята, я очки дома забыл... Там в репертуарной конторе лежит газета с таблицей лотерейных розыгрышей. Я переписал номера и серии в записную книжку. Вот возьмите и проверьте, пожалуйста, — чем черт не шутит, может, чего и выиграл.

Никто, конечно, ни в какие выигрыши не верил, но все же взяли у него эту записную книжку и спустились вниз. Стали проверять и вдруг:

— Толя, все сошлось! Ты выиграл огромную сумму!

И Толя, как Станиславский, закричал:

— Не верю! Не верю!

Тут нашли ему очки и стали тыкать пальцем в газетную строчку и в записную книжку. И Толя наконец сам увидел и все же не верил:

— Не может быть... Не может быть этого!

— Толя, — возразили ему, — никуда ты не денешься — надо обмывать.

— Ребята, — сказал Толя, — у меня ведь сейчас ни гроша. Дуйте в магазин, закупайте все что хотите — обмоем мой выигрыш! А когда я получу, всем раздам деньги.

Бросились в магазин, закупили всякой всячины, накрыли в гримуборной праздничный стол, все уселись. Начали поздравлять, кто-то завидовал. Хорошо отпраздновали. А потом еще дня два продолжали.

Прошло несколько дней, ребята стали волноваться.

— Толя, ну ты получил выигрыш?

— Какой выигрыш?

— Ну как же... Ты ведь выиграл огромную сумму.

— Никогда я не выигрывал.

— Как же, Толя! Мы же сами видели, проверяли...

— Ах, это! Ребята, я же пошутил: увидел газету с тиражом и переписал выигрышные номера. Просто захотелось выпить, смотрю — и вам хочется. Вот я и сообразил, как это сделать.

— Мерзавец! Сволочь! Отдай наши деньги!

— Какие деньги? Выпивали-то вместе?

— Вместе...

— Ну и о чем речь?

Конечно, денег он никому не вернул, да и спрашивать, в самом деле, было неловко.

### ***Славянский бартер***

Миша Вострышев, мой знакомый литератор, чистая душа, всегда был очень восприимчив к человеческим страданиям. И когда американцы стали бомбить Югославию, он вместе с другими москвичами направился к американскому посольству, чтобы в знак протеста забросать его гнилыми фруктами и тухлыми яйцами. Но поскольку гнилых фруктов и тухлых яиц в продаже не было, а все свежее стоило дорого, он долго боролся с искушением: а не лучше ли выпить на последние деньги, что у него были, пива. Но чувство солидарности с братьями— славянами взяло верх, и он разорился на десяток мелких яиц. У посольства он остановился, чтобы оглядеться и покурить. А пакет с яйцами положил на бетонную тумбу. Подошел мужик и стал алчно коситься на этот пакет и дергать кадыком.

— Братьев-славян уважаешь? — наконец спросил он.

— Уважаю.

— А я, между прочим, тоже славянин.

— И что? — не понял Миша.

— А то, что я второй день только овсянку жру, да и та кончается.

Миша понял намек мужика и все же спросил:

— И что ты предлагаешь?

— Давай устроим бартер.

Тут Миша вообще ничего не понял.

— Как это? — спросил он.

— А так. Я вижу, ты простуженный. Так вот, ты даешь мне яйца, а я за тебя орать буду. А когда я голодный и злой, голос у меня — не приведи господь!

— Ори, — согласился Миша.

— Да-а-алой! — заорал мужик так, что Миша понял — он не прогадал. — Па-а-азоррр! Гоу хо-о-ом!

### ***Беда не приходит одна***

Помню, еще в пору моего детства бабушки у нас во дворе говорили: «Деньги к деньгам, говно к говну». Это к тому, что если привалит счастье, так не одно, так же как и беда не приходит одна. Если у тебя на базаре сопрут кошелек с деньгами, жди, что через несколько шагов ты подвернешь ногу. А когда станут вызывать «Скорую», будьте уверены, что все телефоны вокруг окажутся сломанными. А когда тебя частник привезет за последние гроши в больницу, там не окажется гипса.

Как-то я лежал в институте Склифосовского по соседству с главным инженером одного завода. Он был так перебинтован, что напоминал египетскую мумию. Видимо, он был слишком вспыльчивым человеком и, когда «снял стружку» со своего подчиненного, ударил кулаком по столу. Да попал по линейке, которая подцепила чернильницу. Та отскочила прямо на грудь инженера и залила нейлоновую рубашку чернилами. А тут надо было принимать какую-то иностранную делегацию.

Попробовали отстирать с мылом, с порошком — не отстирывается. А тогда, в 60-е, нейлон у нас был еще в новинку и не знали, как с ним обращаться. И тут секретарша сообразила: налила в тазик ацетон и сунула в него рубашку. Конечно, рубашка тут же растворилась, и весь этот раствор вылили в унитаз. От расстройства

инженеру стало плохо, он пошел в сортир и попал в ту же самую кабину. Закурил, бросил спичку в толчок и... взорвался.

А ведь знал бы, что беда не приходит одна, обязательно б поостерегся.

### ***Судьба артиста***

Когда-то в Большом театре был такой балерун — Коля Харитонов. Он любил выпить, и из-за этого его не взяли на гастроли в Америку. Поехала одна жена — тоже балерина. Перед этим она очень ругала его, когда подсчитала, сколько долларов они на этом потеряют.

Она уехала, а Коля с собутыльниками запил. Вдруг кто-то из друзей показал ему газету: Большой возвращается с триумфом. Коля в панике начал убирать квартиру: выносить бутылки, окурки, консервные банки и прочий мусор. А когда стал мыть полы, разделся догола.

А у него был сиамский кот, о котором он совершенно забыл в длительном запое и который питался все это время, вылизывая консервные банки и подбирая остатки закуски. Он сидел мрачный на шкафу и смотрел, как голый Коля ползает с тряпкой на четвереньках. Что-то коту не понравилось, — он спрыгнул и вцепился балеруну в одно место. Коля взвыл, отпрянул и вlepился башкой в батарею.

Истекая кровью, позвонил в «Скорую» и прошептал:  
— Дом Большого театра... Квартира Харитоновых... Умираю...

Приехали врачи и увидели худое двухметровое тело на полу в грязи и крови.

Когда санитары несли его по лестнице на носилках, Коля открыл глаза, и пожилая докторша спросила:

— Что с вами?

Он сказал правду:

— Кот в яйца вцепился.

Санитары заржали и выронили носилки — Коля сломал ключицу. Все-таки довели его до Склифосовского.

На следующий день приезжает жена и видит, в каком состоянии квартира: «Так и знала — пьянка, бабы...» И в заведенном состоянии влетает в больничную палату. Коля, весь забинтованный-загипсованный, протянул к ней ручки, а она с размаху ахнула сумкой ему по башке, забыв, что в сумке лежала стеклянная бутылка с пепси-колой. Проломила мужу височную кость, и ему делали трепанацию черепа.

Все-таки он выздоровел, но в театр не вернулся. Его затравили. Как кто из знакомых встречался, так сразу кричал ему:

— Коля, мяу! — и тот шарахался в сторону.

В общем, он пропал как артист.

### ***Тамбовская травести***

Эту актрису знали и любили все тамбовские театралы. Ее сценическое амплуа, травести, позволяло ей играть на сцене местного драматического театра мальчиков, девочек и подростков до тех пор, пока время не наложило на ее облик свой, не подвластный никакому гриму отпечаток. И тогда она, уже без грима, стала играть забавных старушек. Выйдя на пенсию, она решила съездить по своей надобности в Москву. В столице у нее не было ни родственников, ни знакомых, поэтому, сделав свои дела, она вернулась на вокзал. До Нового года оставалось двое суток. То ли у бывшей актрисы уже и не было денег на обратный билет, то ли

ею овладела старческая апатия, но она спокойно притулилась в уголке лавки и стала равнодушно смотреть на вокзальную суету. А потом и задремала.

Начальник местного отделения милиции, который регулярно обходил подведомственную ему территорию, сразу приметил одинокую старушку и, когда на следующий день обнаружил ее на прежнем месте, сделал своим подчиненным разнос.

— Чем вы занимаетесь? — грозно спросил он. — До Нового года остались считанные часы, а в зале ожидания творится бардак! У нас здесь не гостиница! У нас вторые сутки сидит старушка, и никто не спросит, куда ей, что с ней? Приведите мне ее, я сам с ней поговорю, если уж у вас на это времени не хватает.

Привели старушку. Капитан побеседовал с ней, выяснил, что она травести, что ей нужно в Тамбов и что на последние деньги она купила пачку печенья, которым и питалась, размачивая его в стакане с газировкой за одну копейку.

— Чтобы с первым же поездом ее здесь не было, — приказал капитан-человеколюб и пошел перекусить, оставив вместо себя заместителя.

Заместитель был исполнительным офицером, и, когда наступил час отправления нужного поезда, он вызвал старшину и приказал ему посадить старушку со всеми почестями.

— А где ее багаж? — спросил старшина. Этого заместитель не знал, но он увидел рядом со старушкой туго набитый портфель.

— Не видишь?

— Вижу, — сказал старшина, взял портфель, подхватил под руку старушку и пошел выполнять приказание.

Он договорился с проводником, усадил старушку у окна за столик и взял под козырек.



— Счастливого пути! С Новым годом, бабуля! — и ушел. Поезд тронулся. Бывшая актриса долго смотрела бессмысленным взглядом в окно и никак не могла сообразить, что же произошло. Потом, на повороте, в ее бок уперся портфель. Она щелкнула замком, открыла его, и глаза ее наполнились слезами.

— Боже мой, — сказала она, — такого не может быть ни в одной стране, чтобы органы поздравляли с Новым годом обычную травести. Может, они подумали, что я из Франции? Да нет, они, наверное, меня узнали, — и стала доставать из портфеля коньяк, шампанское, бисквиты, буженину, шоколад.... — Родные мои, — приглашала она соседей по купе, — угощайтесь, пожалуйста. Мне ведь ничего не надо, кроме пачки печенья.

До Тамбова все было выпито и съедено.

И в тот час, когда травести выходила налегке из вагона, в Москве, в том же самом отделении милиции, появился лейтенант, только что сменившийся с дежурства...

— А где мой портфель? — спросил он у дежурного.

— А он у тебя был? — спросил дежурный.

— Зарезали-и! .. — простонал лейтенант и сел там же, где стоял.

### ***Уложились в норму***

Секретарь СП, известный литератор, лауреат всевозможных литературных премий Иван Фотиевич Стаднюк приехал в Астрахань с каким-то официальным визитом. Встретили его, как и полагается, на самом высоком уровне. Заядлый рыбак, Стаднюк за день до окончания визита попросил в обкоме, чтобы кто-нибудь отвез его на рыбалку. Секретарь обкома вызвал к себе

такого же страстного рыбака и тоже писателя Юрия Селенского. (Сейчас его имя носит одна из улиц города.)

— Юрий Васильевич, — сказал секретарь, — надо уважить гостя. Отвези его к какой-нибудь бочажине — пусть подержает стерлядок. Да смотри, не увлекайся, знаю я тебя. Гость гостем, а порядок порядком: не больше трех килограмм на душу. Закон один для всех. И не мне, секретарю обкома, его нарушать.

Взял Селенский удочки, спиннинги, и на обкомовском катере они двинулись в путь. Спустились немного вниз по Волге, Юра по одному ему известным приметам определил нужное место, велел глушить мотор и бросать якорь.

С одного борта ловил гость, с другого — абориген. Через минуту гость завопил на всю Волгу:

— Юра, я поймал!

Юра мрачно смотрел на воду: у него даже не клевало. Стаднюк не успевал таскать эту стерлядку. И наконец ему стало неловко за свое везение.

— Юра, — предложил он великодушно, — может, поменяемся бортами?

— Нет, Иван Фотич, — вздохнул Юра. — Если уж не повезет, так и от родной жены насморк подхватишь.

— У тебя что, в самом деле ни разу не клюнуло?

— Ни разу...

Юра на глаз прикинул улов гостя и решил, что пора кончать этот балаган.

— Будя, Иван Фотич, — сказал он. — Не ровен час, рыбнадзор из-за острова на стрежень...

— И то верно, — согласился гость. — Не будем нарушать порядок. Жалко только, что ты ничего не поймал. А мне говорили, что ты даже из дождевой лужи сома можешь выловить.

— И на старуху бывает проруха.

— Ну и как рыбалка? — спросил чуть позже секретарь обкома Юру.

— Уложились в норму. Гость надергал за двоих.

— Ты что ж, — не понял секретарь, — хочешь сказать, что ты вообще ничего не поймал?

— А я на своих удочках все крючки срезал.

### ***Взятка***

Из больничной палаты выписывался интеллигент — мой сосед по койке. И очень уж он страдал от того, что не может достойно отблагодарить профессора, который поставил его на ноги.

— Боже, — нудил он, — как это некрасиво! Ведь что-то я должен ему подарить...

Мне надоело его нытье, и я предложил:

— Ну дайте ему незаметно хотя бы червонец. Он сам купит себе, что ему надо.

А десять рублей в ту пору были хорошие деньги.

— Но это некрасиво, — поморщился интеллигент. — А впрочем...

И когда профессор пришел проститься с ним, он, краснея и смущаясь, отвел его к распахнутому настежь окну и, держа руку в кармане, стал ему что-то сбивчиво говорить. Чтобы не смущать их, мы, трое оставшихся, как по команде отвернулись от окна. И тут раздался возмущенный голос профессора:

— Как вы посмели?!

Кто-то пробежал по палате и хлопнул дверь. Мы обернулись: профессор один стоял у окна, засунув руки в карманы халата, и тяжело дышал. Потом его седые брови поползли вверх, он вытащил из кармана червонец, тупо на него посмотрел и пробормотал:

— Все-таки сунул, стервец! — и, перегнувшись через подоконник, крикнул: — Чернов! Это свинство! — скомкал червонец, бросил его со второго этажа к подъезду и выскочил из палаты.

Не успели мы обсудить его благородный поступок, как вошла медсестра.

— Что у вас тут произошло? — спросила она ледяным тоном.

— Ничего.

— Как это ничего? Профессор вне себя. Он, как всегда, надел мой халат, а там лежала десятка, которой не оказалось. Я спросила, не мог ли он ее выронить. «Нет, — сказал он, — я ее выбросил в окно». Так что случилось?

Мы натянули на свои головы простыни и тихо заскулили.

### ***Пироги с вязигой***

Киру Константиновну Станиславскую Леня Коробов встретил у опекушинского памятника Пушкину.

— Ах, Ленчик, — сказала она, — как же о нас дурно думают в Европе! Ну бедные мы, несчастные, но не до такой же степени!

Оказалось, что в Париже умерла ее тетка и кузина прислала посылку с мукой. Просила помянуть усопшую и добавила: «Очень покойница любила московские пироги с вязигой. Помяните ее этими пирогами».

— Но ведь муки у нас и в самом деле нет, — возразил Леня. Это было еще до отмены карточной системы — вскоре после войны.

— Попрошу я у девчат в Филипповской булочной. Ведь не откажут они мне ради такого случая. Смешаю с французской... А их мука мне не понравилась: какая-то

серая и, по-моему, немного сладит. А ты непременно приходи. Я тебе позвоню.

Она позвонила, и Леня пришел. Все было чинно и благородно. Правда, специфический вкус зарубежной муки в пирогах не всем понравился. В ту пору наши люди употребляли только отечественный продукт и к иностранному не привыкли.

А через неделю Кира Константиновна снова позвонила Лене и попросила о встрече. Они встретились там же, на Пушкинской площади.

— Что случилось? — спросил Леня, увидев, как у Киры Константиновны дрожат губы.

Она протянула ему листок.

— Прочитай сам... Я не могу об этом говорить. Это от кузины. Из Парижа.

Кузина писала, что матушка ее скончалась в канун оккупации Франции германо-итальянскими войсками. Тогда же ее кремировали. Перед смертью она попросила, чтобы прах ее захоронили в русской земле. Но об этом не могло быть и речи целых пять лет. И урна с прахом хранилась в семье кузины. После окончания войны появилась возможность высылать в Россию посылки с вещами и продуктами. Пересылка же праха стоила больших денег. И тогда кузина пошла на хитрость.

Хитрость удалась, только вот письмо в пути задержалось...

### ***Кое-что о зубах***

Где-то давным-давно я вычитал историю, случившуюся с Джеком Лондоном на одном из тихоокеанских островов. Он решил выступить перед туземцами с рассказами о своих приключениях. Пытаясь

как-то расшевелить воображение аборигенов, он с захлебом вспоминал жемчужину величиной с баранью голову, которую видел на островах Фиджи, золотые россыпи на Клондайке, леденящие кровь истории и забавные случаи. И при этом все время по привычке поправлял большим пальцем вставную челюсть, которая, видать, была плохо подогнана. Что уж говорить о зубной технике начала века, если она и в наше время далека от совершенства.

Рассказывают об одном конфузе, случившемся с комсомольским поэтом Александром Безыменским. Тем самым, о котором другой поэт, сатирик, написал известную в свое время эпиграмму:

Волосы дыбом, зубы торчком:

Старый мудака с комсомольским значком.

А зубы «торчком» у него были оттого, что ему сделали такую вставную челюсть. В разговоре он ее постоянно ставил на место легким ударом ладони. И вот, выступая перед делегатами очередного комсомольского съезда, он в сто первый раз стал рассказывать, как слушал Ленина, который призывал «учиться, учиться и учиться». Всем это давно уже обрыдло, но поэт так вошел в раж, что забыл о своей челюсти, и она в какой-то момент выскочила у него изо рта и полетела через трибуну. С легкостью фокусника он успел ее подхватить и с легким пристуком поставить на место. Это был не гром, а шквал аплодисментов, к тому же долго не смолкающих. Такого успеха не было больше ни у одного оратора.

Не имели успеха у аборигенов и рассказы Джека Лондона. Он не заметил на их лицах никаких чувств, кроме одного — зависти. Все смотрели ему в рот с откровенной завистью. А когда он наконец выдохся и замолчал, к нему бросилась толпа с требованием показать им, что у него во рту за чудо: на острове свирепствовала цинга...

И все-таки, думаю, нет никаких оснований скептически относиться к мастерам зубов и челюстей. В этом меня лишний раз убеждает история, рассказанная нашим замечательным поэтом Николаем Доризо.

Приехал он как-то в Одессу и познакомился там с местным поэтом Мишей Кацем. Миша без ложной скромности поведал столичной знаменитости, что, может быть, в Москве его имя еще не звучит, но уж здесь-то его знает каждая собака. И повел Доризо знакомить с городом. Не успели они дойти до центра, как уже с десятков встречных поклонились Кацу и справились о его здоровье.

Кац сиял!

— Вот видите, Николай Константинович, народ знает и любит своих поэтов.

Но Доризо обратил внимание на то, что никто из Мишиных поклонников не заговаривает с ним о творческих планах, о стихах и вообще о культуре. Некоторые пожаловались на ноющую зубную боль, кто-то посетовал на пломбу, которая вывалилась раньше срока гарантии, кто-то поинтересовался о каком-то «мосте».

Наконец Доризо не выдержал и спросил:

— Михал Михалыч, а что это все ваши поклонники жалуются вам на свои зубы?

— Как же? — удивился Кац. — Я лучший стоматолог Одессы! Если бы не я, половине города пришлось бы жевать только манную кашу! — он весело рассмеялся и серьезно добавил: — А вообще-то все они меня больше знают как поэта.

***Поролоновая голова***

Старые люди любят вспоминать свое замечательное жилье в коммуналках. Это неправда, я сам это испытал. С женой и только родившейся дочерью мы жили на шести метрах за занавеской. Когда к нам собирались гости, они говорили: «Пойдем к Дурову в танк».

Мы сидели за полночь, обсуждали вселенские вопросы, создавали новые театры, а потом на этих шести метрах у меня оставались ночевать до десяти человек. Я своими руками сделал поменьше кровать для ребенка, чтобы оставалось больше свободного места. На полу мы расстилали матрас и укладывались. Удивительно, но в такой тесноте мы еще умудрились держать пианино. А все углы у мебели и у пианино мы обшили поролоном, потому что дочь Катька, ползая, все время ударялась о них башкой.

Однажды мы с гостями уже засыпали, и один из моих друзей, футболист Лапшин, вдруг говорит:

— Лева, я вот лежу и все думаю: чем обивать всю мебель поролоном, может, лучше Катьке из этого поролона колпак сшить?

Мы ржали до утра...

### ***О, родной язык!***

Я забыл дома ключи от квартиры и в ожидании жены подсел во дворе на лавочку к двум бабкам. Они говорили о наболевшем — о своих болячках.

Одна:

— Вот у моей соседки хороший доктор был. От кашля ее лечил. Она все кашляла, кашляла, а потом перестала.

— Вылечилась?

— Нет, померла...



Они помолчали, и теперь другая полюбопытствовала:

— А че твои-то — так и живут не расписанными?

— Так и живут.

— А че так-то?

— Дак ведь волк и меченых овец ворует.

Сейчас живой русский язык можно услышать только от стариков и старушек. Его так замусорили, как Грибоедову и не снилось, когда он говорил о смеси «французского с нижегородским». Ну так в его время не было ни массовой информации, ни массовой культуры.

Я как-то заглянул только в один день программы ТВ (у меня нет времени смотреть телевизор) и пришел в ужас: «шоу», «шоты», «хиты», «арты», «брайны», «токи», «ноу-хау»... Самый богатый и мире язык подменили каким-то хриплым собачьим лаем. Да о чем говорить, если уж депутаты Госдумы не стесняются (а может, иначе просто не умеют) «ботать по фене», от пуза пользуясь блатным жаргоном. Рашен-деревяшен! Век вольвы не видать! Не научившись английскому, мы уже забыли русский. И чтобы понять речь человека, еще не разучившегося говорить по-русски, молодым русским людям нужен уже переводчик.

Говорливые старушки на лавочке продолжали свою беседу.

Одна:

— Ты квартиру-то свою продала с углом аль без угла?

— Что я дура, что ль? Конечно, с углом.

— Это хорошо. Да и сколь нам и маяться-то осталось... А ты справу-то себе приготовила?

— А то! Я ее еще в девках приготовила.

— Дак ведь она поди уж сгнила!

— А мне там не плясать!

Ну что, молодежь, поняла что-нибудь? А речь всего-навсего шла о том, что одна старушка продала

квартиру с условием, что до своей кончины она будет иметь в ней свой уголок — угол. А «справа» — это платье, в котором кладут в гроб. Раньше о ней думали загодя: кто знает, когда тебя настигнет костлявая.

Вот такие пироги. Как говорят, заплати налоги, а потом баунтись!

Недавно, отдыхая у своих родственников в среднерусской деревеньке, я случайно услышал такой разговор. Старуха отчитывала парня за то, что тот взялся точить косу, да плохо это сделал.

Она ему:

— Плохо наточил.

Он:

— Нет, не плохо.

— Плохо.

— Не плохо.

И так они препирались несколько минут, пока старуха окончательно не разозлилась, плюнула и сказала:

— Не умеешь в воду пердеть, нечего и рыбу пугать!

Вот поговорили мы о русском языке, и я вдруг подумал: а как же мы про поэзию-то забыли? Ведь она, родимая, всегда была у нас эталоном чистого русского языка, свежей, как родник из-под корней родной березки. А как нынче-то журчит этот ручеек, и не иссяк ли? Нет, не иссяк! Припадите к нему, если вас мучит духовная жажда, и чтоб вам долго жить.

Эту эпохальную поэму в шести частях я нашел в одном научно-популярном, издании, которое, в свою очередь, перепечатало ее из другого издания: вот она — массовая информация в действии! Чтобы не попасть под какую-нибудь статью Уголовного кодекса, я приведу лишь ее последнюю часть — самую скромную и невинную.

Кофееза в Голубом Дунае...  
Пар над каждой склянкою завис...  
Мне поет Маруська Ледяная.  
Муську клеит бере-мере-бис.  
Молодая, с чувственным оскалом.  
Коки-моки в бантиках из роз.  
Ты поешь, конечно, не в Ла Скала,  
Но и я совсем не оперсос.  
У тебя в башке — два веса дури  
И в мозгах — стоячие винты.  
И облипло платье по фигуре,  
Так, что тянет погасить шнифты.  
Кто тебя, батончик, осчастливил?  
Оперсос? Фан Фаныч? Маршал Клим?  
Замер шпалер... Фраер давит ливер...  
Канул в жопник липовый куклим...

Припали к живительному источнику? Тогда на здоровье.

### ***Пиротехник Гена***

На «Мосфильме» работал в мое время пиротехник Гена. Замечательный, настоящий пиротехник: на одной руке у него не было трех пальцев, на другой двух. Как известно, пиротехник — это не только дым, туманы, не только разожженные костры, но и взрывы бомб, снарядов, подрыв танков и пр., и пр., и пр.

Кстати, эффектные взрывы на воде делаются очень просто. Берется обычный заряд, покупается обычный презерватив, который рекламировать не надо, заряд закладывается в презерватив и погружается в воду. От него тянутся проводки к пиротехнику, который сидит на

бережку. Он замыкает электрическую цепь, и происходит взрыв. Очень красиво и эффектно поднимается столб воды.

Так вот Гена был одним из самых интересных пиротехников на «Мосфильме». С ним обычно происходили какие-то невероятные истории.

Как-то мы с ним работали на Украине в одной картине. Была отличная погода, и мы сидели в Киеве на Андреевском спуске и наслаждались природой, болтали о чем-то. И вдруг метрах в двухстах от нас раздался оглушительный взрыв. Нас с Геной отбросило куда-то в сторону и прижало спинами к какой-то стене. Как потом оказалось, сработал запал и подорвал всю нашу взрывчатку на складе. Но, слава богу, никто не пострадал. Но в окнах ближних домов выбило все стекла. И нас предупредили:

— Ребята, если вы до семи вечера, когда вернутся с работы мужики, не вставьте стекла, будет беда.

И тогда вся труппа взялась вставлять выбитые стекла в домах на Андреевском спуске. Обошлось более-менее без скандала. Но тем не менее отличился все-таки Гена: что-то у него сдетонировало.

Но самая интересная история, на которой он очень сильно прославился, случилась в Ростове. Там не была еще подготовлена комната для хранения оружия, боеприпасов и прочих боезапасов, и Гена взял это все к себе в номер гостиницы, в которой жил.

Съемки еще не начались, и Гена жил довольно праздно и вольно. Человек он был совершенно не агрессивный, интеллигентный и доброжелательный. Но — с определенной человеческой слабостью. И вот когда он, придерживаясь за стены, возвращался к себе в номер, дежурная сказала:

— Вот артист! Ходят тут...

А Гена обычно молча проходил к себе, ни с кем не разговаривал и засыпал. И вот когда она бросила в его

адрес такую реплику, он зашел в свой номер и вскоре вышел оттуда: в одной руке он тащил за собой пулемет «Максим», а в другой — коробку с патронами. И лента уже была заправлена в пулемет. Он развернул ствол в сторону дежурной и сказал:

— А теперь получай, старая б... — и дал очередь.

А надо сказать, что, когда стреляют холостыми патронами, это страшнее, чем боевыми, потому что вылетает огромное пламя. Дежурная ойкнула и завалилась за стойку.

Изо всех дверей высыпали люди. Гена крикнул:

— Ложись! — и дал еще очередь.

Тут появилась милиция, и Гена им тоже крикнул:

— Менты, ложись! — дал еще очередь, и они тоже легли. Гена короткими очередями положил всех на пол. В конце концов патроны у него должны были кончиться, и они кончились. Он встал на колени, и из-за щитка на всех посмотрели его жалобные глаза, а сам он пытался подняться с поднятыми руками. Его скрутили, немного побили и увезли в милицию.

Режиссер попросил меня выручить Гену. Я пошел в милицию и стал объяснять, какой этот Гена хороший человек, какой высокопрофессиональный специалист, но вот в его адрес была брошена оскорбительная реплика, и он не мог сдержаться и ответил вот так.

— Ребята, — сказал я, — ведь вы тоже своих друзей любите и уважаете, и, если бы ваш товарищ так же защищал свою честь, вы, наверное, простили бы его.

Ребята подумали-подумали ипустили Гену.

А другая история случилась, когда мы снимали картину «Пядь земли» — о войне. Пиротехником у нас был Гена, а оператором... Назовем его просто Юра. Это был очень худой грузин, на всем теле которого росла просто невероятная шерсть. И когда он раздевался, то создавалось впечатление, что он одет в огромный черный мохеровый свитер.

И вот на танкодроме в Тирасполе стали пробовать взрывы— обстрел батареи.

— Гена, — командует оператор. — Давай попробуй хороший взрыв.

А земля была твердая, как бетон. Гена что-то зарядил, подключил, за бугром пукнуло, и несколько кусков этого самого грунта взлетели вверх. Юра говорит:

— Гена, разве это взрыв? Сделай настоящий, я тебя прошу!

— Счас, счас, счас...

Опять — бум! — и два куска полетели вверх. Юра стал кричать:

— Гена, ты пиротехник или кто? Ну сделай настоящий взрыв!

— Счас, — сказал Гена и куда-то пошел. Через некоторое время возвращается с полными ведрами воды, уходит за бугор, уходит за бугорок и возвращается с пустыми. И так несколько раз. И так несколько раз: «Счас, счас...» И я говорю Збруеву, с которым лежал неподалеку:

— Саш, мне что-то это не нравится... Что-то Гена затеял.

— Мне тоже все это подозрительно, — говорит Збруев. — Давай-ка отползем в стороночку.

А Юра кричит нам:

— Эй, вы! Снимаетесь в военной картине, а боитесь. Труссы!

И в это время раздался милый интеллигентный голос Гены из-за бугорка:

— Я готов...

Что-то недоброе было скрыто в этой интонации.

— Давай!

Взрыва не было: с каким-то жутким шелестом из-за этого бугра возник огненно-черный столб, который стал разрастаться в огромный гриб, и пошла невероятно

горячая волна. Мы врылись со Збруевым в землю, хотя лежали относительно далеко от взрыва. И в это время раздался дикий-дикий вопль. Мы обернулись и увидели, что Юры на его месте нет. И тут увидели в недалеком кустарнике пробитую просеку, которой раньше не было.

— Знаешь, — говорю Збруеву, — это пробил Юра. — И мы побежали по этой просеке. Чувствую, пахнет паленой шерстью. Дело плохо. В конце просеки мы увидели стоящего на коленях Юру, на котором не было его знаменитого «свитера». А до этого он сидел с нами по пояс обнаженным, потому что было очень жарко — около 45<198> жары. А мы со Збруевым снимались в танке, так там вообще нечем было дышать — можно было только свариться. И вот Юра стоит на коленях, а все его тело покрыто желтой корочкой, и он страшно пахнет паленой шерстью. Я подошел к нему и сказал:

— Юра, дело твое плохо, это страшный ожог, и мы должны на тебя пописать.

— Что-о? — закричал он. — Я князь и не позволю! ..

— Князь не князь, но, если хочешь жить, Юра, придется смириться.

— Но вы же будете трепаться!

— Никогда!

И вот я сейчас рассказываю об этом в первый раз. Мы с Сашей описали его, а он все продолжал ругаться:

— Я князь! .. Я князь! ...

И когда мы отвезли его в больницу, нам сказали, что, если бы мы не проделали эту процедуру, его дела были бы плохи. К этому времени его тело покрылось огромным волдырем. Но мы все-таки смягчили его страдания.

А виноват был во всей этой истории наш замечательный пиротехник Гена. Но после этого он скрылся и не появлялся три дня. А Юра просил:

— Как только он появится, скажите мне — я его убью.

Но он его не убил. Катастрофа миновала, появился Гена, они пожали друг другу руки, и все кончилось мирно.

На этой же картине произошло еще кое-что, но Гена тут не был виноват. Режиссер Яшин сидел на маленьком складном стульчике, а Гена проверял взрывы уже среди орудий батарей. Яшин все кричал:

— Давай больше! Больше! Больше!

А мы со Збруевым спрятались за автобусом. Легли и наблюдали за всеми этими действиями. И вдруг раздался страшный взрыв, и мы увидели, как огромная глыба описывает дугу и летит прямо на Яшина. Мы замерли, услышали такой шмякающий звук, и Яшин подлетел метра на полтора со своего стульчика и дико завопил. Оказалось, что эта глыба упала ему точно на подъем и сломала косточку на ноге. До конца съемок он ходил в гипсе, мы его называли адмирал Нельсон, и он дико злился.

А Гена наверняка вошел в историю «Мосфильма», потому что с ним всегда что-то происходило: ведь настоящие пиротехники не могут жить без происшествий.

### ***Кавалергард***

Был у нас в Центральном детском театре прекрасный актер Павел Владимирович Брянский. Небольшого роста, коренастый, а голос у него был такой — бас-профундо. Он играл в сказках царевичей, царя зверей. Актер был замечательный. В театр всегда приходил весь в крахмале — и рубашечка, и бабочка. Хотя был, конечно, человеком далеко не богатым.

Он слыл таким искренним и честным человеком, что его откровенности побаивался даже директор театра.



Мы знали, что до революции он служил в каких-то элитных войсках. Как-то я спросил его, что это были за войска. И он сказал, что служил в таком-то кавалергардском полку. А мама моя была сотрудником Военно-исторического архива. В этом учреждении хранились материалы всего дореволюционного периода, включая послужные списки всех армий, дивизий, полков, офицеров.

Когда я узнал, в каком полку он служил, я попросил маму, если можно, найти документы на Брянского. Когда мама сделала выписку из его послужного списка и мы показали их самому Павлу Владимировичу, мы все вместе хохотали до слез. Там у него были сплошные разжалования, лечения от дурных болезней, восстановления в чинах, загадочные истории и еще бог знает что. Он сватался к дочери командира полка, но ему отказали. А в послужном списке было написано, что во время парада в день именин Его Императорского Величества ротмистр Брянский подскакал на коне к командиру полка и отдал ему рапорт, приложив в знак приветствия руку к неподобающему месту. За это он был разжалован в солдаты и отправлен в Оренбургскую крепость. Там он заболел дурной болезнью. Фельдшер сделал ему укол скипидара, после чего Брянский пробежал от боли три раза вокруг крепости и был найден в бурьяне. Потом он вылечился, в чине его восстановили.

Вот в таком духе был составлен весь послужной список. И выходило, что Брянский был настоящим хулиганом, роскошным хулиганом, хотя и служил в кавалергардском полку.

А уже при Советской власти с ним приключилась история, которая обошлась ему очень дорого. У милиционеров тогда были белые пробковые шлемы с двумя шишечками, по бокам которых были две дырочки. Вот Брянский подошел к одному постовому и спросил:

— А скажи-ка мне, пожалуйста, милейший, для чего у тебя на шлеме дырочки с двух сторон?

— Для вентиляции, — пояснил милиционер.

— Болван! — не согласился Брянский. — Это для того, чтобы у тебя выходил пар, когда кипит твой разум возмущенный!

Его тут же арестовали и дали четыре года за контрреволюционный выпад.

А я вспоминаю один торжественный вечер, посвященный очередной ленинской годовщине. Выступали старые люди, творческие работники, и, когда все высказались, Шахазизов спросил, не хочет ли кто еще сказать что-нибудь по теме. И тут руку поднял Брянский. Шахазизов смутился — он знал, что от этого человека можно ожидать всего что угодно. Но делать было нечего, и он пробормотал:

— Конечно, конечно, Павел Владимирович...

Брянский поднялся, прошел к трибуне и начал:

— Вот здесь много говорилось о так называемых Ленинских субботниках. Но я вижу, что вы совершенно не знаете о том, что эти субботники изобрел совсем не Владимир Ильич, а Лев Давыдович Троцкий.

Зал окаменел.

— Да, да, — продолжал Брянский. — Он организовал трудовые отряды, в которых должны были принимать участие все граждане страны. И Владимир Ильич, как гражданин республики, наравне со всеми работал на этих субботниках и таскал это самое легендарное бревно. Так что никакого подвига он не совершил, а выполнял свой гражданский долг. Но вскоре выяснилось, что от этих субботников, в которых надо было участвовать и в зной и в стужу, стали терять профессиональные навыки музыканты-исполнители, вокалисты, художники, артисты. И вот тогда мы, представители разных артистических жанров, организовали группу и пошли на прием к Луначарскому

просить его освободить нас от этой трудовой повинности. Луначарский принял нас в Кремле и поддержал нашу просьбу. Троцкий, видимо, был уже предупрежден о цели нашего визита, потому что через минуту-другую вошел в кабинет и безо всяких предисловий железным голосом сказал:

— Все знаю. Сегодня от субботника начинают трястись руки у скрипача, завтра они затрясутся у молотобойца, послезавтра они затрясутся у красного командира, а потом они должны затрястись и у меня. Нет! Никто от субботников не освобождается! — и он вышел.

Мы были безумно расстроены. Был расстроен и Луначарский. Он выдержал большую паузу, а потом сказал:

— Не вешайте головы. Сейчас я еще попробую... — и вышел. Через короткое время он возвратился с Владимиром Ильичем.

Ленин, ни с кем не поздоровавшись, стал быстрыми шагами ходить по кабинету, потом попросил:

— Анатолий Васильевич, пригласите, пожалуйста, сюда Льва Давыдовича.

Луначарский пригласил. И Ленин спросил Троцкого:

— Лев Давыдович, вы жаловались, что у вас течет потолок. Как сейчас обстоят у вас дела?

— Течет, Владимир Ильич.

— А вы знаете что, Лев Давыдович, — в Третьяковской галерее очень много промасленного полотна. Надо вынуть его из рам и застелить крышу вашего дома. И течь ваш потолок не будет. А можете даже из рам не вынимать — просто уложить на крышу.

— Ну если это все ван дейки, то конечно, — попытался отшутиться Троцкий и осекся. — Понял, Владимир Ильич. Я сейчас же подпишу приказ об освобождении всех работников искусств от субботников.

Так закончил свое выступление бывший кавалергард Брянский. Павел Владимирович был мужественный человек. Однажды в кругу друзей он с грустной задумчивостью сказал:

— Братцы, а вы знаете, ведь мне конец... Это не потому, что я не могу сейчас пойти с вами и выпить. Дело в другом: мне не хочется выпить! А это значит — все...

И в самом деле, очень скоро мы узнали, что у него обнаружили очень тяжелую форму рака. Он никогда не жаловался на боль, ходил, покряхтывая, и все думали, что у него просто такая манера поведения...

И ушел он тихо и незаметно — великолепный артист и замечательный человек из плеяды людей необыкновенных.

## ***Новоселье***

Это было время, когда горожане вдруг прониклись любовью к природе и личному овощу и стали организовывать садово-огородные товарищества, объединения и строить на них домики. Не такие, конечно, какие строят нынче «новые русские», напоминающие средневековые крепости. А так, кто из чего мог: из некондиционных досок, дощечек от ящиков, которые тогда валялись у магазинов, рубероида, даже из самана.

Мой старый дружбан по двору Толян построил свою «фазенду», как он ее называл, из обрезков досок. И чтобы она долго стояла, под первую доску (под фундамент! ) заложил бутылку водки. «Примета такая», — сказали ему. На новоселье Толян пригласил всех, кто добывал ему доски и шифер, кто помогал по выходным возводить это чудо архитектуры, и просто

друзей. Гости были в восторге: это ж надо — своими руками, из ничего! Не хоромы, конечно, но и не собачья конура. Вспомнили старую русскую мудрость: человек в своей жизни должен родить ребенка, поставить дом и посадить дерево. И не было человека счастливее Толяна: у него уже росли два мальчугана, он посадил несколько яблонь на участке и вот теперь — дом! Исполнено последнее жизненное предназначение! Толяну завидовали, всего обслюнявили и смочили пьяными слезами радости. Он и сам крепился из последних сил, чтобы не разрыдаться в голос. Терпел.

И вот уже за полночь (гости решили заночевать на лоне природы) вдруг прошел страшный слух: водка кончилась! Не рассчитали! Перетрясли все заначки, багажники в машинах — пусто! Это было равносильно тому, как если бы ты намылился под горячим душем, разомлел — и тут выключили воду. Тогда магазины ночью не работали. Знать бы, кто варит в округе самогон, но Толян с местным народом еще не сдружился. Он чуть было не упал духом, как вспомнил: господи, да ведь он сам заложил в фундамент бутылку, чтоб дом дольше стоял!

— Мужики! Есть! — крикнул он, подхватил у порога топор и выскочил за дверь.

Мужики бросились за ним, но и жены поняли, что здесь что-то светит, и выскочили за порог. «Фазенда» опустела. Вооружились все — кто ломом, кто гвоздодером, кто саперной лопаткой. Всем, что попало под руку. Толян уже забыл, — где искать, и жилище взяли в кольцо. Вокруг все скрежетало и скрипело. И наконец раздался долгожданный крик:

— Наше-ел!

И в этот момент «фазенда», как в замедленной съемке, стала медленно опускаться, потом с треском рухнула и покрыла всех мягкой теплой пылью.

Жертв не было. Гости, как и договорились заранее, ночевали на лоне природы. Впрочем, как и хозяева.

В этой истории винить некого, кроме самих хозяев: сами построили, сами разрушили. Руки есть — опять построят.

А вот как быть с теми «подарками», которые делают новоселам так называемые профессиональные строители? Расскажу лишь о нескольких случаях.

Один из моих приятелей, которого звали Ерик Маленький (потому что был еще Ерик Большой), получил однокомнатную квартиру в новом доме и пригласил друзей на новоселье. Мы к нему пришли, и тут выяснилось, что балконы после окончания строительства оказались в аварийном состоянии, поэтому их просто отрезали автогеном, а балконные двери завинтили огромными шурупами, предупредив жильцов, что балконов нет, а двери являются продолжением стены и трогать их нельзя.

А надо сказать, что стояла жуткая жара — июль в разгаре. Но мы все были молодые, горячие — что нам! Мы развинтили эту дверь и открыли — все же знали, что балкона нет и выходить нельзя.

И в самый разгар торжеств раздался звонок в квартиру. Хозяин пошел открывать, и мы услышали радостные возгласы:

— Щегула! Щегула пришел!

Это был переводчик с семи языков. Очень высокий красивый парень, в роскошном по тем временам блестящем капроновом кос тюме.

— Что же вы, сволочи, не предупредили? Зажилить праздник хотели?

Все с ним пообнимались, перецеловались, он поздравил хозяина с новосельем и буквально через несколько секунд подошел к открытой настежь балконной двери.

— Ну-ну! И какой же вид мы здесь имеем?

И никто не успел рта открыть, как гость сделал с балкона шаг и внизу раздался неприятный шмякающий звук. Все замерли. Хозяин сразу сказал:

— Нет, я вниз не пойду...

И каждый счел своим долгом тоже сказать:

— И я не пойду... И я....

Я понял, что миссия с упавшим телом предназначена для меня. Подошел обреченно к двери, и в это время раздался звонок. Я открыл дверь — передо мной стоял Щегула, морщась и потирая коленку.

— Ну, вы что, сволочи! .. Не могли предупредить? У меня ведь новый костюм — японский! Вот смотри: пробил штанину и ушиб локоть.

Все это происходило на третьем этаже. И когда мы посмотрели, откуда и куда Щегула упал, нашему удивлению не было конца: он упал на грудку битого кирпича со строительным мусором. И хоть бы хны! Только ушиб локоть и пробил штанину. Мы тут же забыли о новоселье и стали пить за здоровье нашего героя — Щегулы.

Вот вам и новоселье...

Еще одна история, связанная с новостройкой, о которой в свое время знала вся Москва.

Другой мой приятель получил новую квартиру. Пригласил гостей на новоселье, и один гость оперся о стену. А стена стала падать на улицу. Гость успел вовремя отскочить, а мы увидели, что в стене нет целого блока. При строительстве, когда устанавливали эти бетонные плиты, блок только прихватили сваркой, но забыли потом как следует приварить. Если кто не верит в эту историю, может убедиться в ее правдивости сам. Это в Марьиной Роще. Там стоит дом, у которого на торцевой стене видны остатки восьми (! ) балконов. Когда-то там действительно были нормальные балконы — на глухой торцевой стене!!!

Фотографии этого чудо-строительства были опубликованы не только в «Крокодиле», но и на страницах ведомственных журналов под рубрикой «Что бы это значило?». Иностранцы не верили фотографиям и приезжали своими глазами посмотреть на такое чудо. В самом деле, убеждались они, — на глухой торцевой стене восемь балконов. Естественно, без выхода на них. А откуда выходить-то?

И тогда иностранцы окончательно уверовали в существование странной и загадочной русской души.

### ***Горим, братцы, горим!***

Рассказал мне как-то приятель одну историю, которая приключилась с нашим известным актером Николаем Афанасьевичем Крючковым. Когда он был в Индии на Международном кинофестивале, то, хорошо угостившись у гостеприимного Раджа Капура, вернулся в гостиницу с огромной гаванской сигарой в зубах, воображая Черчилля. С этой сигарой лег в постель и уснул. А ночью стал тлеть: у них там матрасы набиты сухой пахучей травой. Первым запах почувствовал его сосед по номеру, с которым он жил, не менее известный артист (к/ф «Цирк») Сергей Столяров. Залили все водой из графина, и получилась совсем неприглядная картина: грязь и чад.

В общем, назревал международный скандал: отель-то был президентским! Наш посол в Индии, к которому обратились друзья, не знал, что делать, и решил переждать какое-то время, чтобы выяснить, какие дипломатические шаги предпримет индийская сторона.

А оказалось все проще простого. Когда убитые горем Крючков со Столяровым открыли дверь в номер, то поразились: будто ничего и не произошло: все чисто,



прибрано и вместо паленой гари пахнет индийскими благовониями.

Это у них — в азиатской стране, а у нас, в полувосточной, в наших гостиницах актеры горят постоянно, и никто о международных осложнениях даже не думает и ни о каких санкциях не помышляет. И не по причине деликатности жилищной администрации, а благодаря находчивости самих погорельцев.

Расскажу в связи с этим лишь о двух историях, которые мне запомнились.

### ***История первая***

### ***Эффект Кио***

Был у нас в театре на Малой Бронной замечательный артист Саша Юдин по прозвищу Лемур, потому что он все делал как-то заторможенно, как лемур где-то на Мадагаскаре, который медленно лазит по деревьям и лениво срывает листочки. Между прочим, Саша был из какой-то старой аристократической семьи, и, когда он называл фамилии тех, кто был близок с их семьей, можно было представить внушительный круг их знакомств.

У Саши почему-то никогда не было никаких денег, но при этом он умел сохранять аристократическую независимость. Он, например, переходил улицу там, где ему хотелось, не обращая внимания ни на светофоры, ни на постовых. Вот они с Геннадием Сайфулиным переходят улицу где не положено, и раздаётся милицейская трель. Они подходят к милиционеру, и тот говорит:

— Будьте добры, заплатите штраф.

Лемур оборачивается к Сайфулину.

— Слушай, отдай этому жлобу шесть рублей.

Гена, конечно, платит. У него и в мыслях нет, что Лемур отдаст ему эти три рубля.

Однажды он пригласил кого-то в ресторан:

— Пойдем, посидим часочек, расслабимся.

Почему бы и не пойти, если приглашают? И они пошли. Расслабились. И вот когда официант принес счет, Лемур повернул голову к своему товарищу: мол, чего не платишь? А тот:

— Саш, ведь ты меня приглашал!

— Да, но я не ожидал, что у тебя нет денег.

— Откуда? Ни копейки!

Пришлось им что-то оставить в залог и на второй день изыскивать средства. А вообще-то это был хороший парень и добрейшей души человек.

И вот как-то мы приехали на гастроли в Свердловск. Тогда появились модные американские сигареты «Астр». Наши сигареты постоянно гасли, и через несколько затяжек их приходилось снова прикуривать. А американские не гасли. И тут у Лемура случилось несколько свободных дней, и он празднично проводил их в своем номере, приглашая друзей и подруг. И вот как-то, оставшись один, он лег с сигаретой на кровать и уснул. Постель загорелась. И несмотря на то, что нижняя часть его тела начала уже поджариваться, он не просыпался.

Дежурная увидела, как из всех щелей его номера валит дым, и стала стучать в дверь. Никакой реакции — ни на стуки, ни на крики, ни на шумную панику в коридоре. Тогда она выбила дверь, и дым повалил в коридор. Саша приподнялся на кровати и удивленно спросил:

— Боже мой, что это? Пожар?

Подошел к телефону и стал тыкать пальцем в дырочки телефонного диска. Но ему никак не удавалось попасть в дырочки этого диска и вызвать пожарную

команду. Дежурная между тем схватила кувшин с водой и стала заливать постель.

Все имело жуткий вид: сгорело одеяло, простыни, начал тлеть матрац и обуглилась царка — боковая доска у кровати. Начался жуткий скандал. А Сашку отправили в больницу, потому что ползадницы у него представлял один огромный пузырь. И потом разразился скандал уже на городском уровне — дошло до горкома партии. И там сказали, что эту труппу, которая чуть не сожгла гостиницу, надо гнать из города поганой метлой. В конце концов, дело с трудом, но удалось уладить, но предупредили, что в номер явится комиссия и обследует, как и что произошло. Директор в свою очередь заявил, что виновник происшествия уже уволен из театра и больше такого безобразия не повторится.

А в это время с труппой работал плотник, которого взяли на гастроли в качестве монтажника. Позже я узнал, что это бывший таксист, который сбил насмерть человека, но в этом происшествии его вины доказано не было. Тем не менее он сам решил год-два не ездить, пока не пройдет шок. И вот он пришел к Лемуру и сказал:

— Саша, зайди в магазин «Ткани», там есть полосатый материал, купи три метра и дай мне ключи от своего номера. А ты найди себе партнеров по бильярду и погоняйте в холле шары. Стучите, как можно громче шарами и как можно громче реагируйте на каждый удар.

Лемур так и сделал. Купил ткань и отнес ее в чемоданчике в номер. Отдал ключи плотнику. И собрал компанию бильярдистов. Стали играть. Все кричали, визжали, хохотали, короче, буйно резвились. А администраторша смотрела и ворчала:

— Господи, ну что это за люди! Ведь, паразит, чуть гостиницу не сжег, ползадницы у самого сгорело, а ему

хоть бы что! Веселится еще!

Прошло часа полтора, наш плотник вышел из номера, незаметно передал ключи Лемуру и сказал:

— Саша, все в порядке.

Когда Саша вошел в номер, то увидел: матрац новый, стенка отполирована и следов пожара вообще нет! Остался только запах гари. И тогда Саша, то ли по совету товарищей, то ли по собственной догадке, обходит все номера и спрашивает:

— Ребята, у кого есть цветы?

А после каждого спектакля, как известно, артистам дарят цветы, а уж «звездам»-то — обязательно. И вот тихо-тихо в номер Лемура стали нести цветы. Саша взял у кого-то роскошную пижаму (своей-то у него никогда в жизни не было). И когда должна была прибыть комиссия, Саша был готов к ее приему.

Раздался стук в дверь. Саша спросил поставленным голосом:

— Кто там?

— Это комиссия.

И тогда Саша спросил:

— А скажите, пожалуйста, в комиссии женщины есть?

Из-за двери грубый голос ответил:

— Есть, есть! Женщины тоже есть!

И Саша сказал:

— Я не могу вас так принять, я еще в постели, я в пижаме.

Через короткую паузу ему сказали:

— Ничего. Открывайте.

Саша открыл дверь, и в номер вошла комиссия во главе с директором гостиницы, администратором, директором театра и какие-то чины местной власти. Все они как вошли, так и замерли. А Саша отбежал к кровати и лег в чужой роскошной пижаме. У кровати лежали книги по цветоводству, стояли вазы и банки с

шикарными цветами, и все благоухало — все дезодоранты, которые были у дам, Саша опустошил.

Администраторша после короткого шока вдруг закричала:

— Нет, нет! Встаньте сейчас же! Встаньте сейчас же! — И к комиссии: — Он вчера бегал голый, звонил, пытался вызвать пожарную команду!

Саша, пожимая плечами, встал, а она сорвала с кровати одеяло, простыню, и все увидели совершенно новый матрац,

— А-а! — продолжала вопить администраторша. — Сгорела вся деревяшка!

Она перевернула матрац и увидела отполированную деревяшку. Наступила тишина. И в этой тишине раздался нежный шепот директора гостиницы:

— Вон отсюда, идиотка! — потом радушно улыбнулся артисту и сказал: — Товарищ Юдин, мы просим у вас извинения за эту дуру, которая доставила вам столько беспокойства. Я приношу извинения директору театра и всем артистам труппы...

— Ну, мало ли что бывает! — улыбнулся Саша. — Не будем на нее сердиться.

Директор театра остался очень доволен, что все так хорошо кончилось. Но он чувствовал, что ему все-таки надо на это как-то отреагировать. Он обратился в местком, а там были все Сашкины друзья, и все обошлось. Зато когда пришел другой директор театра, с Лемуrom опять возникла ситуация. И его все-таки решили увольнять.

Тогда главным режиссером у нас был Александр Леонидович Дунаев. Я пошел к нему выручать Лемура. И не успел войти в кабинет, как он замахал руками.

— Дуров, все знаю, знаю, знаю, зачем вы пришли! И на эту тему не может быть никаких разговоров! Все! Хватит, хватит, хватит!

Я сказал:

— Александр Леонидович, ведь это замечательный парень. Уволите вы его из театра, он же погибнет. Он отличный актер, безотказный. Когда нужно, он на первой же пробе вводится в спектакль. Сколько раз он и меня выручал.

— Нет, нет, нет! Я непреклонен!

В общем, наш диалог продолжался довольно долго. Я его уговаривал, уговаривал и наконец почувствовал, что вроде бы склонил к тому, чтобы его не увольняли. Дунаев во время разговора ходил по кабинету и вдруг подошел к окну и, стоя ко мне спиной, сказал:

— Ну, Лев Константинович, вы попались! И я вместе с вами. Идите сюда.

Я подошел к окну и вижу: прямо против окна Дунаева стоит Лемур в позе известной тогда скульптуры «Пионер-горнист». Он стоял, запрокинув голову, только вместо горна он прижимал к губам горлышко бутылки с вином и опустошал ее с каким-то сладострастием.

— Александр Леонидович, извините, — сказал я и вышел из кабинета.

Вот так закончилась сценическая карьера артиста Саши Юдина по прозвищу Лемур...

## ***История вторая***

### ***Исчезнувший диван***

Режиссеры Смирнов и Яшин снимали в Тирасполе картину «Пядь земли», в которой мне была предложена роль. Я приехал на съемки в тот момент, когда город находился в сложной ситуации: чрезвычайное положение, комендантский час и прочее. Там в это

время разразился жуткий скандал. Первый секретарь горкома влюбился в жену второго секретаря и отправил его куда-то в командировку. А сам поехал с его женой за город развеяться. За рулем, конечно, он был сам. Они гуляли-гуляли по красивой пересеченной местности, пока не стемнело. Стояла тишина, и все располагало к интимной обстановке. И вдруг раздался жуткий металлический лязг и скрежет и пошли танки. Оказалось, что влюбленные забрели на танкодром, а у танкистов начались ночные учения, и боевые машины пошли с погашенными огнями. Кстати, на этом самом танкодроме мы снимали некоторые эпизоды картины.

Первый секретарь подхватил свою даму, они выбрались на шоссе, но машину свою не обнаружили. В город пришлось возвращаться на попутке.

Первый секретарь горкома был в то время царь и бог в своей епархии — его каждая собака знала. И слух о том, что он поехал с женой второго секретаря за город, сидя сам за рулем, а вернулись они на попутке, этот слух облетел город за мгновение.

Но в танковой бригаде, конечно, ничего об этом не знали, и учения шли своим порядком. Первый же танк наехал на горкомовскую «Волгу». Раздался дикий скрежет, и танкист, чтобы не навлечь на свою голову беды, проскочил дальше. А может быть, он просто не расслышал этот скрежет за грохотом мотора. И за этим танком прошла по этой «Волге» вся танковая колонна. И только утром обнаружилась большая лепешка искореженного металла, на которой красовался именной знак — номер — горкомовского автомобиля.

Начался чудовищный скандал. И тут вернулся второй секретарь горкома, которому обо всем доложили. Он ворвался в кабинет первого, выхватил револьвер, а секретари тогда были вооружены, чтобы обороняться от любимого народа, и пытался застрелить

своего соперника. Но то ли не попал, то ли вышла осечка, убийства не произошло.

И вся эта история дошла до Москвы. Приехала огромная комиссия разбирать этот чудовищный инцидент. Как писал наш великий поэт Некрасов: «Суд приехал, допросы, тошнехонько...»

Вот в это самое время мы и оказались в Тирасполе.

А в нашей съемочной группе оказался артист Витя Сускин — высокий красавец и очень-очень добрый человек. К тому же застенчивый, как девочка. Он никогда не участвовал ни в каких спорах, дискуссиях, интригах. Сам говорил мало, но любил слушать с замечательной, доброй улыбкой на лице. И вот как-то у него выдались свободные дни, когда он не участвовал в съемках. И Витя пошел гулять по городу.

А в этом городе через каждые десять шагов стояли бочки с сухим вином и палатки, в которых тоже продавали разных сортов сухие вина. Витя шел, улыбался прохожим, останавливался у каждой бочки, у каждой палатки, дегустировал вина и вернулся в гостиницу в умиротворенном состоянии.

А тут тоже появились эти неугасимые американские сигареты «Астр». Витя пришел в номер, закурил эту «Астру», лег на кровать и уснул.

Проснулся он от того, что стал задыхаться — номер был наполнен дымом. Гостиница была новая и, по всей видимости, рамы и двери были сделаны из сырого дерева, они очень плотно закрывались и дым в коридор не проникал. Когда Витя очнулся, то первым делом выпустил через фрамугу весь дым, залил предварительно диван водой. Но оказалось, что в середине дивана образовалась огромная дыра — огонь прожег диван насквозь.

В этот день я тоже был свободен и сидел в своем номере. И вот раздается телефонный звонок.



— Левочка, — спрашивает Витя, — у тебя есть хозяйственная сумка? Чем больше, тем лучше.

— Есть, — говорю, — но она с вещами.

— Освободи ее и зайди с ней в мой номер.

Я освободил сумку и пошел к нему. И тут вижу, идет еще один актер, и тоже с большой пустой сумкой. Я спросил:

— Ты не к Вите Сускину?

— Да. А ты не знаешь, в чем дело?

— Нет, но он просил меня прийти с большой сумкой. Ладно. Дошли до двери, постучались, и Витя открыл дверь. Мы увидели на полу аккуратно сложенные кусочки дивана, аккуратно сложенные пружинки, а Витя допиливал последние части этого дивана.

— Я уже кое-что отнес, — сказал он, — а теперь мы сложим остатки в ваши сумки, и отнесите их, пожалуйста, на стройку — это через квартал. И выбросьте там все это через забор.

Мы сложили все, что могло поместиться в сумки, дошли до этой стройки, перекинули мусор через забор, вернулись и увидели, что Витя подмел уже пол, опилки собрал в кулечек, свернул остатки пружинки, положил в наши сумки и тщательно протер мокрой тряпкой пол.

— Ну вот и все, — удовлетворенно сказал он. — Дело сделано...

И в самом деле, никакого шума и скандала по этому поводу не было — на отсутствие дивана просто не обратили внимания.

Через какое-то время я встретил Витю на улице Горького. Мы обнялись, разговорились.

— А знаешь, Левочка, — сказал он, — я ведь из профессии ушел — я теперь не актер.

И я подумал, что это каким-то непостижимым образом связано с той историей, и сказал ему об этом. Как ни странно, я оказался прав.

— Вот ты помнишь, — сказала он, — как вы помогли мне тогда в Тирасполе. Так вот в тот день, когда мы уезжали из города, ко мне зашла администраторша. «Товарищ Сускин, — сказала она, — а вот тут...» — и показала пальцем на то место, где стоял диван. Я не выдержал, перебил ее и крикнул: «А что я его — съел?!» «Она растерялась, пожала плечами и ушла. И вот тогда я понял, Левочка, что артист-то я никудышный. Я даже не умею слушать. Я ведь даже не дослушал ее, а уже закричал. Вот тогда я и понял: ни на сцене, ни на экране мне не место... Сейчас я работаю по другой профессии, а по какой — не скажу. Может быть, ты обо мне еще услышишь.

И, расставаясь со мной, он так же, как и раньше, добро и широко улыбался. А я понимал, конечно, что шрам-то в душе его остался, потому что кино такое же заразное дело, как и цирк. Но об этом я уже много раз и писал и говорил. Очень трудно покидать и то и другое. Очень...

### ***Воскресение из мертвых***

В свое время блистал знаменитый динамовец Олег Лапшин. Потом он стал тренером «Динамо». А я в течение многих-многих лет дружил с его сыном Олегом, который обладал удивительно неуправляемым характером. Он прекрасно пел, играл на гитаре и был душой любой компании. Абсолютно бескорыстный человек с какими-то разгульными цыганскими замашками. Его то ли дед, то ли прадед был хозяином спичечной фабрики. Спички Лапшина продавались по всей России.

Однажды звонит Люся, жена Олега, и сквозь слезы говорит:

— Левочка, Лапша пропал...

— Успокойся, — говорю, — сейчас буду звонить по больницам, по моргам. Найдем твоего Лапшу.

Конечно, нигде Лапшу я не нашел. Не нашла его и Люся. А через неделю она опять звонит:

— Левочка, Лапша нашелся! От него пришла из Кишинева телеграмма: «Играю в Кишиневе деньги выслал целую Лапша».

Как потом выяснилось, шел Олег по улице Горького и повстречал знакомого тренера. Обнялись, поговорили о том о сем, и тренер спрашивает:

— Ну, как ты сейчас, играешь?

А Олег в свое время играл в «Динамо», потом получил травму и долгое время спортом не занимался.

— Да нет, — говорит Олег. — Как-то я отстал от этого.

— А поехали ко мне в Кишинев играть?

— Когда?

— А сейчас! У тебя паспорт с собой?

Олег нащупал в кармане паспорт.

— Со мной, — говорит.

— Ну и полетели!

Так он и оказался в Кишиневе. Будто так все и должно было быть.

Другая история была связана с моими поминками.

Поднимаюсь я в метро по эскалатору, и вижу, как на соседнем спускается Люся Лапшина. Когда мы поравнялись, она подняла голову, увидела меня, и глаза у нее стали квадратными. Я думал, она упадет в обморок. И у меня мелькнула догадка. Я показал на себя и крикнул:

— Что, умер? -И она кивнула.

А вечером раздается в прихожей звонок. Я открываю дверь и вижу перед собой Олега.

— Ты что, похоронил меня? — спрашиваю.

— Не сердись. Ну загулял. А когда пришел домой, Люська спрашивает: «Где был?» — «Да подожди, — говорю, — горе-то какое: Дуров умер. Там дома у него все плачут». Она поверила и тут же заплакала. Поставила бутылку, я выпил и тоже заплакал.

Короче, помянули тебя хорошо. А сегодня она едет в метро и видит тебя живого и невредимого! Вот я и приехал отпраздновать твое воскресение. Позволишь?

Ну что делать с таким замечательным человеком!

### ***Партия трясунов***

Наверное, только в нашей стране существует неистребимая любовь к партиям. Не к объединениям, не к обществам, не к союзам, а именно к партиям, и непременно — «нового типа». Просто какая-то патологическая тяга к этому сообществу. Иных хлебом не корми, но дай организовать какую ни на есть, но — партию!

Когда некие остроумцы организовали и официально зарегистрировали «Партию любителей пива», бывший секретарь Кунцевского райкома партии Москвы, давно спившийся, был возмущен таким вероломством.

— Эстеты, мать их! — гремел он в узком кругу единомышленников-собутыльников. — Деньги им девать некуда, так они их на конскую мочу переводят! Товарищи, предлагаю тост за партию нового типа: «Партию ползунов-сорокаградусников»! Бросим клич, и под наши знамена встанет вся многострадальная Россия!

Дядя Саша, его первый сподвижник, бывший инструктор райкома, поддержал идею и сразу же внес предложение:

— А знамя оставим наше — красное! Да и гимн уже есть, — и он прокуренным голосом пропел на мотив «Песни о Щорсе»:

— Не стыдитесь, пьяницы, носа своего:

Он ведь с красным знаменем цвета одного!

Э-эй, э-эй, эх, цвета одного!

Они допили бутылку и стали обсуждать программу и устав партии нового типа.

### ***Скажи мне, Фадеев...***

Когда я писал «Кое-что о зубах», то упомянул там без имени поэта-сатирика, который сочинил на поэта Безыменского злую эпиграмму:

Волосы дыбом, зубы торчком:

Старый мудака с комсомольским значком.

Старый комсомолец не остался в долгу и незамедлительно ответил в раздраженном тоне:

Сам горбат, стихи горбаты.

Кто виноват? Жида виноваты!

Да, Сергей Васильевич Смирнов был горбат, но это не помешало ему всеми правдами и неправдами добиться зачисления в действующую армию в первые же дни войны. О том, как он воевал, свидетельствовали боевые награды, которые щедро украшали его далеко не богатырскую грудь.

Ну а уж его стихи «горбатыми» называть было просто грешно: его эпиграммы и четверостишия били всегда без промаха. Ему не нужно было даже называть объект своих стихотворных шаржей, их герои всегда были узнаваемы. Ведь тот же Безыменский сразу узнал себя, хотя и не был назван.

Когда проходил очередной съезд Союза кинематографистов, Смирнов присутствовал на нем в

качестве специального корреспондента журнала «Крокодил». И вот однажды после заседания делегаты увидели в фойе, рядом с рестораном, выпуск «Молнии». На доске висел лишь один листок с эпиграммой сатирика:

<\_>В одном питейном зале

<\_>Сидели два знакомца.

<\_>«Ха-ха, — они сказали, -

<\_>Мы своего доПьемся! «

После этого все стали гадать, кого же имел в виду Сергей Васильевич. Но поскольку таких было много, споры не утихали до завершения съезда.

Не забыл поэт и о себе, любимом.

Наверное, каждый из нас задумывался о своем будущем. Вон старого летчика Росинского очень даже волновало, где его захоронят. Хотя, казалось бы, а не все ли ему равно? Люди поскромнее хотят знать о своем будущем при жизни. Они обращаются к гороскопам, провидцам, колдунам. Как, например, князь Олег:

«Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною?»

А люди еще скромнее выбирают себе прорицателей по чину. Поэт Сергей Смирнов обращался к своему непосредственному начальнику — Первому секретарю Союза писателей СССР, который по своей-то уж должности должен был знать всё и вся о своих подопечных. И Сергей Васильевич смиренно спрашивал:

Скажи мне, Фадеев, любимец ЦК,

Что в жизни случится со мною:

Иль шумно меня вознесут в облака,

Иль тихо — смешают с говною?

Что ответил ему «любимец ЦК», неизвестно. Не будем гадать и мы.

## ***Странные мысли***

У странных людей и странный образ мышления. А иначе чем бы им и отличаться от людей без комплексов? Вот они и отличаются тем, что очевидное превращают в невероятное. Это нам, привыкшим к стереотипам, так кажется. А для них это означает: найти в вещах и понятиях первоначальный, истинный смысл. Скромно говоря, поставить мир с головы на ноги.

Я вспомнил несколько мудрых мыслей этих странных и предлагаю их вниманию читателей. Может быть, это подвигнет их на собственные странные размышления.

## ***Нетленка***

Я плохо знаю нетленное учение Маркса-Энгельса. Как-то сразу догадался — это не для меня. Но одна фраза из этого учения мне очень запомнилась: «Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей».

Я спросил у деда:

— Дед, правда, что революция с вас цепи сорвала?

— Да, внучек, — ответил он. — Вот здесь у меня были часы на золотой цепи. Теперь их нет.

## ***Уважай традиции!***

Один старый актер, помыкавшись тринадцать лет по сталинским тюрьмам, лагерям и ссылкам, как-то заметил, пытаясь быть мужественным:

— Если б я не был битым-перебитым, я бы, не задумываясь, сказал, что у нас и в правительстве, и в Думе, и на самом верху тьма долботесов. Но я не скажу этого: я слишком уважаю традиции культа личности.

### ***Ищу хомут!***

Думаю, что поговорку «Была бы шея, а хомут найдется» придумали лодыри. Шею обычно подставляют очень трудолюбивые люди, которые хотят, чтобы на них был хомут. Да и хомут — это не так плохо. Я хочу сыграть роль, я хочу, чтобы роли мне давали! А без хомута что же делать? Резвиться жеребенком на поляне всю жизнь?

Хомут — это необходимая вещь, без нее еще никто не обходился.

### ***Не хочу на шесток!***

А вот поговорку «Всяк сверчок знай свой шесток» придумало начальство, чтобы при случае унижить человека, стоящего на ступеньку ниже.

Я никогда не позволял никакому начальству говорить со мной свысока, особенно раньше, когда начальство любило разговаривать с тобой снисходительно, сверху: «Ну, Дуров, ты замечательно играешь!» — и стучали по плечу. Я разворачивался и ударял гораздо сильнее.

Все пугались:

— Что ты делаешь? Это же секретарь райкома!

А мне было начхать. Я никогда не был ни в какой партии и к тому же не выношу панибратства.



### ***Любопытство не порок***

Бармен-философ в Доме журналиста как-то глубокомысленно изрек:

— Женщины не могут не разговаривать, и если мы их не слышим, значит, они шепчутся, — и, болезненно скривившись, покосился на угловой столик, за которым сидела его жена с подругой, и они подставляли друг другу уши.

Ах, как ему хотелось услышать, о чем они говорят!

### ***Страшилка***

У итальянцев есть хорошая поговорка: «Стариков нужно убивать в детстве». Звучит страшно. А на самом деле ее нужно понимать так: каждый человек должен ощущать себя ребенком до старости, до преклонных лет.

### ***Свое болото***

Есть хорошая русская поговорка: «Всяк кулик свое болото хвалит». А чего — чужое, что ли, хвалить? Правда, надо помнить, что у кого-то есть болото, где и камыши повыше, и ветер в них шумит музыкальнее, и лягушки там позеленее...

Надо любить свое болото!

## ***Кто рано встает***

Странно, но у меня совершенно отсутствуют два качества: я не знаю, что такое хотеть спать, и не испытываю чувство голода. Никогда!

Тем более странно, что детство мое пришлось на очень голодные годы. Я, как и все пацаны, носил с собой в кармане кусок жмыха, курил листья, чтобы как-то забить чувство голода. Но мы были мальчишками, росли, когда всегда жрать хочется. А сейчас я совершенно безразличен к еде. Почему?..

## ***Выдумка про голь***

Меня всегда возмущала поговорка «Голь на выдумки хитра». А почему обязательно голь? Что же ты себе — на кафтан не заработаешь? Я не люблю нищих. Подаю, конечно, но в душе знаю, что одетые в камуфляжи — это совсем не «афганцы». Да не пойдет «афганец» клянчить! Ведь есть артели для инвалидов, для слепых — можно заработать. Мы сами стимулируем эту голь на выдумки.

Нищенство, бомжи — это профессия, образ жизни, который многим нравится. Такие люди есть везде, во все мире. Вот я был в Нью-Йорке. Пожалуйста: Гарлем — грязь, срач, банки-склянки, сожженные дома, наркота. Через три метра — итальянский квартал: чистота, ресторанчики, серенады, запах кофе, травка на газонах. А в Канаде этой голи платят пособие и ежедневно привозят матрасы, чистое белье, пожрать и выпить в пакетах, чтобы она не была социально опасна.

Я не уважаю голь. После войны наши стали разбирать трофеи из Германии и увидели, что одежда,

белье — все было в заплаточках. Аккуратные немцы следили за тем, чтобы не представлять собой голь. Да и наша аристократия в эмиграции жила в бедности, но никогда не опускалась до уровня голи.

# **СИЛА ИСКУССТВА**

Артисты театра и кино, драматурги и сценаристы да и просто самодеятельные любители сцены порой попадают в такие ситуации, которые даже трудно предугадать.

Бывает и так, что, когда от зрителя ждут загробные рыдания и потоки слез, он, этот непредсказуемый зритель, начинает корчиться от смеха и махать руками. Значит, в самый трагический момент увидел на сцене нечто такое, о чем сами артисты и не подозревают.

Покойный драматург-комедиограф Алексей Симуков рассказывал, как он оконфузился на премьере своего первого спектакля. По окончании его восторженный зритель стал вызывать автора на сцену. Он вышел и стал кланяться, и при каждом поклоне зал взрывался диким хохотом. Молодой драматург решил, что так и положено встречать комедиографов, и задышался от счастья. Каково же было его отчаяние, когда оказалось, что в суматохе он забыл застегнуть на брюках ширинку и при каждом поклоне демонстрировал зрителям свои ярко-красные трусы. Как говорил герой А. Райкина: «Не смешно».

Чтобы не смущать своего целомудренного читателя, я не стану демонстрировать перед ним свое неглиже, а смиренно представляю ему несколько скромных рассказов из истории нашего отечественного театра после 1917 года.

***Начало всех начал***

***Билль-Белоцерковский! ..***

Сейчас это имя никому ничего не говорит. Или — почти никому. А между тем он был автором десятка пьес, полудюжины сборников рассказов и очерков, и уже после его кончины (в 1970-м) вышел двухтомник избранных произведений «Так проходит земная слава»...

Иногда еще прокручивают на ТВ фильм-спектакль по его пьесе «Шторм». А чаще не фильм, а лишь одну сцену из него, где Фаина Раневская играет Спекулянтку. Помните, чтобы не попасть впросак, она все время спрашивает комитетчика: «Шо вы гоорите?.. Шо вы гоорите?..» Сцена незабываемая — потому что Раневская! — чего нельзя — увы! — сказать о самой пьесе, хотя, как утверждал сам автор, она и построена на биографическом материале.

А биография Белоцерковского удивительная. Начитавшись в детстве Майна Рида и Фенимора Купера, мальчишка бежит на юг. Его берут юнгой на рыболовную яхту, которая курсирует по Азовскому и Черному морям. Пацану хватило трех месяцев, чтобы разочароваться и в Купере, и в Риде. В трюме английского парохода он добирается до Америки и пешком пересекает ее с востока до запада. Здесь он знакомится со своими любимыми литературными героями, и они тоже разочаровывают его: в жизни индейцы оказались совсем не такими, какими изображали их писатели.

На западном побережье он нанимается на торговое судно и оказывается в Южной Африке. Об этом он напишет потом рассказ «Как я стал негром». А годы идут. Когда он узнал, что в России произошла революция, ему было уже тридцать два, и судьба забросила его в Китай. Из Харбина он перебирается в Россию и через всю страну «на перекладных» направляется в ее европейскую часть.

Где-то между Москвой и Уралом он пишет свое первое «литературное произведение»: «Обращение к солдатам». Его потом, в виде листовок сбрасывали с аэроплана. Там были такие «простонародные» выражения, что, по мысли автора, белогвардейцы должны были сразу же испепелиться. Красное начальство заметило это «произведение» и назначило его командиром воинского подразделения.

— Неграмотный, серый, — как рассказывал сам Владимир Наумович, — я стал командовать сотней бойцов. Однажды мне приказали «прикрыть» артиллерию. Откуда мне было знать, как ее «прикрывать»! Я, конечно, понял буквально и приказал прикрыть пушки брезентом. После этого случая начальство решило, что в газете от меня будет больше толку, если я стану писать рассказы. Но меня это не устраивало, и я начал с пьесы.

Это была ура-патриотическая пьеса с солдатами, мировым капитализмом, светлым коммунизмом и еще черт знает с чем. Я привез ее в Москву и предложил Художественному театру. На меня посмотрели как на ненормального. А я их обвинил в саботаже. Тогда это было серьезное обвинение. Но они не дрогнули. И только когда пригрозил лишить их хлебного пайка, они начали репетировать.

Со второй пьесой автор поступил еще круче: он просто приставил ствол маузера к животу режиссера и предупредил, что если, мать-мать, еще слово, то, мать-мать... Поставили. Так начиналась советская драматургия и советский театр. Шел 1920 год. А через шесть лет, когда ставили «Шторм», актеры были уже приучены к новой, революционной, сценической эстетике. А еще через год, в десятую годовщину Октября, сам К. Станиславский поставил «Бронепоезд 14-69» Всеволода Иванова. Как же иначе: ведь именно тогда впервые с театральной сцены прозвучало имя

Ленина! Пройдет еще десять лет, прежде чем Н. Погодин и театры рискнут вывести на сцену самого вождя в «Человеке с ружьем». А был ли риск? Такой же риск упасть у малыша, которого мама держит на помочах. Здесь, скорее всего, боялась сама «мама»: как бы чего не вышло! Вон ведь даже двести лет назад в «Комедии на Рождество Христово» вместо родителей Спасителя ставили на сцене две большие иконы. А тут вождь мирового пролетариата! Все же рискнули. И ничего не случилось — ни гром не грянул, ни Земля не вздрогнула. Напротив! Дедушка Ленин стал еще живее всех живых: кошечек гладит, детишек конфетами угощает. Велика сила искусства, даже если оно — социалистического реализма!

В заповедной стене была пробита брешь, и, почуяв легкую поживу, в нее хлынул целый косяк богомазов.

Цып-цып-цып! Курочка по зернышку клюет и сыта бывает. Вот пример. Из брежневских времен. Когда поэта и драматурга, бессменного главного редактора «Огонька» Анатолия Софронова контролеры прищучили за сок рытие огромной суммы партийных членских взносов, а это грозило страшной карой, он не растерялся. Быстренько написал пьесу и срочно тиснул ее в своем журнале. Своя рука — владыка! И все контролеры в одночасье заткнулись. А почему? А потому: главным героем пьесы был — нет, не бывший полковник Брежнев, — а его икона: полковник Бережной. А кто замахнется на святое? Себе дороже.

Да-а, господа, велика сила искусства...

### ***«Бронепоезд» не прошел***

Прошло без малого четверть века со времени первой постановки «Бронепоезда 14-69». Я учился на

втором курсе школы-студии МХАТ имени М. Горького. И вот нам оказали честь быть занятыми в дипломном спектакле «Бронепоезд». Ставил спектакль Павел Владимирович Массальский.

Мне тоже доверили поучаствовать в эпизоде, где я играл беженца. Но увлекло меня совсем другое.

Ведь что такое бронепоезд? Это грохот тяжелых вагонов-башен, перестук литых колес на стыках и стрелках, выстрелы, залпы... Я подошел к Массальскому и сказал:

— Павел Владимирович, можно я сделаю шумы для вашего спектакля?

— А ты умеешь? — недоверчиво посмотрел на меня Массальский.

Я снисходительно улыбнулся.

— Спрашиваете тоже...

— Ну давай!

Понятно, что шумами до этого я никогда не занимался. И даже представления об этом не имел ни малейшего. Но как это делали другие, мне не нравилось. Ведь всегда кажется, что ты можешь сделать намного лучше. Здесь можно было бы порассуждать о самомнении, но я не стану отвлекаться.

И вот я начал экспериментировать. Прежде всего собрал солидную бригаду добровольцев. Мы натаскали кровельного железа, кусков рельсов и устроили сложнейшую сигнализацию. И вот спектакль!

Я проверил готовность нашей «аппаратуры» — все на месте, все под контролем.

Мужики стоят на рельсах и ждут прибытия бронепоезда. Кто-то должен пожертвовать собой, чтобы остановить его.

И вот издалека: ши-ши, ши-ши, ши-ши, ши-ши... Идет! Красиво идет!

Резонатор (деревянный ящик с фанерными боками) вступает за резонатором. Щетки, утыканые гвоздями,



сыпят с боков резонатора опилки. Ах, как хорошо!

— Приготовиться стыкам! Пошли! -Та-та-та, та-та-та, та-та-та, та-та-та! Прекрасно! Поезд приближается. — Врежь, ребята!

Та-та-та! Та-та-та! Та-та-та!

— Железо! Начали!

Зза-за-за! Зза-за-за! З-з-з-а-а! ..

Нервно запели листы кровельного железа в руках увлеченных «ассистентов». Так и надо!

— Большой барабан!

Бу-а-а-а-а-а! .. Бу-а-а-а-а-а! ..

Залп!

Боже мой! Ахнуло все сразу. Дрогнули старые стены. В конце коридора что-то с грохотом рухнуло. На вешалке испуганно взвизгнула тетя Дуся:

— Господи! Да что ж это такое!

Я весь в поту. У меня у самого мурашки бегут по спине. Фурор!

В зале овация! Прибежали из МХАТа — ведь наши здания рядом.

— Что тут у вас происходит?

— Спектакль!

— У нас чуть все стекла не вылетели! Мы думали — салют! Но ведь никакого праздника нет! Еще один такой спектакль — и рухнет вся наша альма-матер!

Да, хотя мы и наделали много шума, но «Бронепоезд» не прошел.

### ***Человек из центра***

Артист Аркадий Щербаков был колоритнейшей личностью. Он очень напоминал эдакого провинциального буйного трагика. Было в нем что-то

если не от Ильи Муромца, то уж от Добрыни Никитича — точно. Изумительный актер.

Он сменил уйму театров. Даже во МХАТе играл: помню его великолепного Анархиста в «Разломе» Бориса Лавренева. Но у него была известная еще со времен Островского слабость: «Мы актеры — и наше место в буфете». В конце концов он оказался в затруднительном положении.

И вот он пришел к Анатолию Андреевичу Колеватову в Ленком и, упав на колени, стал просить, чтобы тот взял его к себе в театр.

— Хорошо, — согласился наконец Колеватов. — Но учти, ты сразу же попадаешь в революционный спектакль, где будешь играть главную роль — Человека из центра. Понимаешь, этот спектакль необычайно ответственный, очень важный для театра. Мы получим за него Сталинскую премию, а у тебя будет возможность реабилитировать себя за все свои прежние проделки.

Аркадий прослезился и сказал:

— Анатолий Андреевич, да никогда в жизни! С сегодняшнего дня в рот — ни капли!

А надо сказать, что пьеса даже по тем временам была далеко не оригинальной. Там сибирские мужики собрались на сходку и решали — поднимать восстание или подождать. Вожак их успокаивал.

— Нет, мужики, — говорил он, — надо погодить. Вот приедет Человек из центра, он-то нам все и скажет, потому как без руководства у нас ничего не получится.

Тут надо отметить еще одну странность: сибирских мужиков играли актеры Ленкома не русской и не кавказской национальности. Возглавлял их Аркадий Вовси — родной брат того самого «врача-вредителя». Вовси, который потом будет арестован как врач-убийца. К счастью, его не успеют расстрелять, и он останется жив. А Аркадия прятал у себя на чердаке один из его

друзей-актеров. Когда волна этой жути прошла, Аркадий вернулся в театр. Это был прекрасный актер и добрейший человек. Все у него просили займы, а он:

— Вот-вот! Сейчас я тебе дам. А никто не отдает! Если б я собрал все долги, которые мне не отдают, я бы стал самым богатым человеком в мире! Нет, ни копейки я тебе не дам. Ни за что не дам!

Через минуту он заходил в гримуборную, молча выходил, и у него или из кармана, или из ширинки торчали свернутые денежки. Просто так дать он не мог — обязательно с каким-то фокусом, с криком, с протестом. Но не дать он не мог. Вот он и возглавлял толпу этих самых сибирских мужиков.

Наконец настал день сдачи спектакля. Полный зал черных костюмов и черных галстуков на белых манишках — тогда революционные спектакли принимали огромные комиссии: от горкома, райкома и бог знает из каких еще «комов».

И вот, значит, сидят на сцене сибирские мужики во главе с Аркадием Вовси, и он говорит:

— Ну, что, мужики, поднимать восстание или ждать Человека из центра? Он-то нам все растолкует: он должен привезти письмо от самого Ленина!

Поговорили мужики еще о чем-то между собой, а Человека из центра все нет.

Сибирские мужики начинают повторяться, чтобы заполнить тягучую паузу.

— Нет, мужики, пора подниматься. Уже и наши мужики, и соседние начали подниматься. Чего мы ждем?

— Погодь немного. Вот дождемся Человека из центра, даст он нам письмо от Ленина, тогда и поднимемся.

А Человека из центра все нет и нет. Опять неловкая пауза, и сибиряки начинают импровизировать:

— А все же, может, начнем, мужики? Наша деревня готова.

— И наша!

— И все прочие! Все деревни готовы!

И вдруг из-за кулис раздается дикий грохот. Что-то там рушилось, слышались какие-то удары, приглушенная брань. Все замерли. И тут задник, на котором было написано «РЕКА» и нарисована изба, стал медленно-медленно собираться к центру. Все окостенели. И неожиданно раздался дикий треск и — задник лопнул вдоль! И в этом проеме, как распятие, стоял Аркадий Щербаков с безумными красными глазами. Он увидел толпу мужиков и пошел вперед, не выпуская эту толпу из вида, потому что это был для него единственный ориентир, без которого идти он просто не мог.

Он двигался как сомнамбула. Прошел мимо парализованных сибирских мужиков, вышел почти на авансцену, но дальше его не пустил задник, и он замер.

Здесь он должен был объясниться с мужиками:

— Я Человек из центра, который принес вам письмо от Ленина. А-а, я вижу, вы мне не доверяете, и правильно делаете. Вот мой мандат.

С этими словами он должен был вытащить из-за голенища мандат и письмо. Но Аркадий все забыл. Безумными глазами он смотрел в зал и судорожно пытался вспомнить, что он должен говорить и делать. И тут у него что-то промелькнуло в мозгу. Он отцепил, наконец, задник и, потеряв опору, рухнул на колени и стал на четвереньки. Глядя в зал тоскливым взглядом, он сказал:

— Вот вам и манда... — видно, силы его окончательно покинули, и последнюю букву в последнем слове он произнести уже не мог.

В зале наступил паралич — все это огромное черное каре замерло, и в абсолютной тишине раздался

жалобный голос Колеватова:

— Занавес закройте, пожалуйста...

Конечно, тут же к Колеватову подошли черные пиджаки, поблагодарили за спектакль, выразили свое полное удовлетворение и удалились.

Колеватов побежал за кулисы.

— Где этот негодяй? — и, не дожидаясь ответа, бросился в гримуборную, где сидел Аркадий.

— Аркадий! — завопил он. — Я хотел вернуть тебя к жизни, я тебе помог, а что ты делаешь со мной? Что ты сделал со всеми нами? Мне что теперь — уходить? Ты думаешь, мне после этого не предложат оставить пост директора? Пьяная ты морда!

И тут Аркадий неожиданно заорал:

— Я?! Пьяный?! Как вам не стыдно! Я взволнован революционной тематикой!

От такой наглости у Колеватова глаза стали совсем квадратными, и он тоже завопил:

— Ах, ты взволнован революционной тематикой?! Счас ты все получишь!

Он захлопнул дверь гримуборной, запер ее на ключ и убежал.

А за дверью раздался страшный грохот, звон стекла и какой-то скрежет — видно, Аркадий крушил трельяжи, гримстолы, ломал стулья и все, что попадет под руку. Наконец, когда он, видно, все порушил, наступила тишина.

Через некоторое время в коридоре показался Анатолий Андреевич, а рядом с ним шел маленький-маленький человечек. И у него не было лица, а было два огромных-огромных глаза. Он был то ли близорук, то ли дальновзорук: линзы в очках были такие, что увеличивали глаза раз в пять. И этот человек нес в руке такой старинный-старинный врачебный чемоданчик, с какими ходили уездные врачи во времена Чехова. И

этот человек вопросительно посмотрел на Колеватова. Тот отпер дверь и сказал:

— Вот!

И все увидели Аркадия, который лежал в руинах, приняв какую-то трагическую распластанную позу. Он увидел этого маленького человечка, в глазах у него появилось какое-то странное выражение, и они опять стали наливаться кровью. И приглушенным сиплым голосом он спросил:

— Ты кто?

И этот человек, не выговаривая ни одной буквы, неожиданно сказал:

— Я экс-пег-тиза!

— Ты экспертиза?! Слушай, гном, я тебя вот на эту ладонь поставлю, а этой прихлопну, и в стороны только брызги полетят! Ты меня понял, экс-пер-тиза?!

И он хлопнул ладонью о ладонь. Это был чудовищный звук. И неожиданно этот маленький-маленький человечек сказал:

— Где вы так нажгались, батенька? С кем?

Реплика была настолько неожиданной, настолько ласковой, что лицо Аркадия приняло обычное выражение, он обрел нормальный человеческий язык. Потом выражение лица сменилось на беспомощную детскую гримасу, он рухнул на колени перед этим человечком, положил подбородок ему на плечо и завопил: :

— С кем?.. С при-я-те-ле-ем!

И человек попросил:

— Оставьте нас вдвоем.

Их оставили наедине, а через несколько минут вышел и врач.

Он подал Анатолию Андреевичу какую-то бумажку и сказал:

— У этого человека остаточное явление.

Колеватов заорал:

— Какое остаточное явление?! Ему спичку поднеси, он взорвется!

И вдруг этот гном завопил высоким фальцетом:

— Вы забываете, с кем вы газговагиваете! Я судебная экспегтиза! Вы знаете, что я с вами сделаю! Вы жестокий человек! Больше я к вам не сделаю ни одного шага!

И пошел по коридору. Все замерли. У Колеватова было совершенно растерянное лицо.

А на следующий день на стене висел приказ: Аркадия все-таки уволили из театра.

А совсем недавно я ехал на такси, и таксист, на которого я несколько раз пристально посмотрел, улыбнулся и сказал:

— Лев Константинович, все правильно, все правильно! Я знаю, я знаю — я для вас очень знакомое лицо. Я сын Аркадия Щербакова. Вот, видите, работаю на такси.

— А где отец?

— Не знаю. Куда-то уехал. Сначала писал, а потом исчез...

— И вы не пытались его найти?

— Пытались. Не нашли.

Вот такая грустная история русского артиста Аркадия Щербакова.

## ***Елка***

Не знаю, как сейчас, а в стародавние времена существовала традиция: на Новый год в Колонном зале Москвы ставили для детей елку. А Деда Мороза изображал Владимир Ильич. Да-да-да, сам Владимир Ильич!

Он гулял по лесу, вокруг него собирались зверюшки — они танцевали, прыгали, короче, веселились сами и веселили Владимира Ильича. Конечно, были там и темные силы, но дедушка Ильич с помощью этих зверюшек побеждал их. А потом под крики детей: «Елочка, зажгись!» — Владимир Ильич зажигал эту елку, и все танцевали вокруг нее.

Завершался этот спектакль тем, что заранее подготовленные дети выходили на сцену и читали стихи о Ленине. Они известны, их не так уж и много: «С кудрявой головой, в валенках катался по горке ледяной».

И вот однажды из первого ряда стал раздаваться истошный крик:

— Я хочу! Я хочу!

Кричал маленький мальчик и рвал себе пальчики, как хазановский студент кулинарного техникума. Ведущему ничего не оставалось, как пригласить его на сцену:

— Ну конечно, конечно! Иди сюда, мальчик. Хочешь прочесть стихи о Ленине?

— Да, я хочу о Ленине!

— Хорошо, ты знаешь стихи о Ленине?

— Да, я знаю о Ленине!

— Ну иди к микрофону.

Мальчик поднялся на сцену, подошел к микрофону и начал: «По улице шел зеленый крокодильчик... И вдруг обоссрался...»

У меня было такое ощущение, будто в зале рухнули все хрустальные люстры. Наступила гробовая тишина. Тут кто-то из ведущих попытался выйти из положения: схватил какого-то зайчика или медвежонка, сунул его мальчику в руки и стал выпроваживать со сцены:

— Ну ты иди, иди. Спасибо тебе! Все хорошо, все хорошо. Елка продолжается!



Мальчик спустился со сцены, нашел свое место и сел. И вот тут мы увидели страшную картину. Он сел рядом с большим-большим дядей. А дядя отрекся от ребенка. Он сделал вид, что это чудовище, которое только что сошло со сцены, не его сын, не его внук и вообще никакого отношения к нему не имеет. Но самое страшное, что сам мальчик каким-то подсознанием понял, что он совершил нечто, и вел себя так, будто этот громадный дядя не его папа, не его дедушка и он к нему тоже никакого отношения не имеет.

И тогда возникла маленькая пауза, были притушены огни. Потом ярко вспыхнул свет, и все увидели, что в первом ряду два пустых кресла: дядя с мальчиком в темноте умудрились смыться. И правильно сделали — еще неизвестно, чем бы для них закончилось это новогоднее представление. И для дяди, и для маленького мальчика, которому так хотелось прочитать стихи о Ленине.

### ***Человеческий фактор***

Не помню уж, кто сказал, что театр превращает толпу в народ. Не знаю, не знаю...

Как-то после спектакля я очень спешил домой. Народ вывалился из театра и толпился (так, народ или толпа?) на стоянке такси и на автобусных остановках. Кое-как я втиснулся в автобус, и мы поехали. У меня не было автобусного талона, но я нашел в кармане пятак, поднял его над головой и спросил, нет ли у кого лишнего талона.

Интеллигент, на которого я смотрел в упор, засуетился, вынул мятый-перемятый талон, пробитый, наверное, сто раз, и смущенно улыбнулся:

— Последний....

После чего потянулся к компостеру пробивать его в сто первый раз. Два парня, которые живо обсуждали спектакль, дружно отвернулись, когда я им показал пятак. И я понял, что они сами без билетов. На кого бы я ни посмотрел, все сразу отводили глаза.

И я подумал: что же это получается? В театр пришла толпа, театр превратил эту толпу в народ (силой искусства! ), а стоило этому народу только выйти на улицу, как каждый стал... Кем? Личностью? Субъектом? Человеческим фактором?

Не знаю, не знаю...

## ***Зависть***

Один из организаторов и руководителей 1-й студии МХТ (1912), человек, который был близок с Л. Толстым, А. Чеховым, М. Горьким, — Леопольд Сулержицкий объяснял молодым актерам роль их сценических героев: «Не потому они ссорятся, что они дурные люди, а потому мирятся, что они хорошие по существу. Это главное. Только этим, и только этим вы поведете за собой зрительный зал».

Если бы это понимали не только актеры!

А я знавал очень посредственного писателя, который позавидовал даже четырем апостолам-евангелистам, когда узнал, сколько раз переиздавалось «Евангелие», какими тиражами и на сколько языков переведено. Он даже посерел лицом. А казалось бы, ведь далеко не евангелист!

Может быть, вы скажете, что Сулержицкий говорил вовсе не об этом? И об этом тоже. Развейте дальше его мысль, и вы согласитесь со мной.

## ***Балет и соленая капуста***

Шло очередное собрание в министерстве культуры, похожее на все другие, как капли воды из неисправного крана. Жара — дышать нечем, но все мужчины в темных костюмах, как на похоронах, и при галстуках — так было положено, чтобы избежать вольнодумства.

Одна половина зала откровенно дремлет, другая — думает свои думы. И тут маленький, лысый, взопревший докладчик из министерских чиновников, чтобы расшевелить аудиторию, берет на октаву выше:

— Я еще могу пережить, когда на сцену выходит Ромео-пенсионер — издали не видно. Но когда вместо Джульетты на сцену выкатывается бочонок! .. — он делает многозначительную паузу, ожидая «смех в зале», но вместо этого в тишине раздаётся хриплый голос очнувшегося от спячки режиссера Бориса Равенских:

— Черт возьми! .. Я совсем забыл про бочонок! А ведь скоро капусту солить...

Докладчик был шокирован.

## ***Сила необходимости***

Не секрет, что все актеры очень самолюбивы и, когда их критикуют, а то и громят, им становится неприятно.

Французский актер Жерар Филип говорил: «Я никогда не читаю рецензий, так как слишком серьезно отношусь к своей профессии. Если меня ругают — меня это ранит и на какое-то время выбивает из седла. Если хвалят — мне это ничего не прибавляет».

Как ни странно, от рецензий я никогда не страдал. Критиковали косвенно, например что снялся в плохом фильме.

Покойный Эфрос как-то сказал (я тогда еще молодой был):

— Ну что ты во всяком говне снимаешься?!

На что я ответил:

— Анатолий Васильевич, босиком в метро не пускают.

### ***Блондинка-дурочка***

Интересная история! Где-то я прочел, что Мерилин Монро спасла американцев от вырождения. До ее появления на экране героиней, покоряющей мужские сердца, была женщина-вамп. Такой образ насадил кинематограф.

Мужья приходили домой и не находили в своих женах эту самую «вамп». Начались бракоразводные процессы, упала рождаемость.

Страна стояла на пороге вымирания. И вдруг появилась Мерилин Монро, ампула которой в Голливуде называлось «блондинка-дурочка».

Она была обольстительна: сисястая, жопастая, с обворожительной улыбкой и без царя в голове. Тут все мужья пригляделись и поняли, -а моя-то жена тоже ничего: и фигуристая, и жопастая, и веселая, да и поумнее будет.

Мужья вернулись в свои семьи — Америка была спасена.

### ***Лев Толстой и сушки***

Я уже писал о том, как Юрий Никулин, великий выдумщик, разыграл меня сперва с орденом Трудового Красного Знамени, а вслед за тем пригласил сниматься в Голливуд.

Ну, думаю, больше ты меня, Владимирыч, не купишь!

Проходит несколько дней, раздается звонок.

— Дуров? — спрашивают.

— Дуров, — говорю, — Дуров. Чего надо?

Мужик объясняет:

— Это звонят из «Совинфильма». С вами хочет встретиться Питер Устинов. Не могли бы вы...

И я перебиваю:

— У меня к вам предложение, «Совинфильм».

— Да? — заинтересовался дядька. — Какое же?

— Не пойти ли вам вместе с Питером Устиновым!

.. — уточняю куда.

А дядька не уступает и все настаивает. Я, значит, адресую еще длиннее. Слышу, он кому-то там говорит:

— Он посылает... Поговори ты с ним.

Трубку берет женщина. Ну я, конечно, опомнился.

— Простите, — говорю, — пожалуйста, я думал, это Ширвиндт или Никулин.

Она там упала сразу — она все вычислила и говорит:

— На самом деле вас хочет видеть Питер Устинов.

И я поехал на эту встречу, ничего не понимая, зачем и что. Хотя... Драматург Питер интересный, актер замечательный и дядька, как мне было известно, хороший.

Значит, приезжаю. А этот Питер такой огромный, как баобаб, здоровый и бородища на всю грудь. Он увидел меня и как заревет:

— Ле-е-ев!!!

И весь «Совинфильм» вздрогнул: мол, чего притворялся, что не знаком!

Тогда и я заорал:

— Пи-и-итер!!!

К его пупку ухом прижался, орем! Все обалдели, думают — озверели совсем. Думают, откуда у Дурова такие связи с Англией? Кто-то смутился...

Ну сели, чуть-чуть дали, и я спрашиваю:

— Чего тебе нужно, Питер? — По-простому его спрашиваю.

— Видишь ли, канадская телекомпания будет снимать по моей книжке многосерийную картину.

У него тогда вышла книжка «Моя Россия».

— Слышал, — говорю, — о книжке, но не читал.

— Подарю.

И тогда я спрашиваю:

— А я при чем?

— Я, — говорит, — буду играть самого себя, Питера Устинова. А ты будешь Львом Толстым.

— Ты что, обалдел? — спрашиваю. — Какой из меня Лев Толстой? Погляди на меня получше.

— Нагляделся, — говорит. — Ты вылитый Толстой. Давай гримироваться.

Я и опомниться не успел, как гример уже взял меня в оборот. Мудрил он надо мной, мудрил, а когда закончил... нас всех разбил паралич! Меня первого. Поглядел я в зеркало: один к одному!

А гример спокойно так:

— Думаю, больше ничего не надо делать.

Я говорю:

— Братцы! Да что ж это такое? Я ведь хотел отмотаться! Куда же теперь?

И они провели опыт. Сфотографировали меня, и гример ходил с двумя фотографиями — моей и Толстого — и всех спрашивал:

— На одной фотографии не Толстой. Где не Толстой?

И все тыкали пальцем в фотографию Толстого. Хотя бы кто-нибудь ткнул в меня! Оказалось, я чуть-чуть «толстее» Толстого.

Ну, деваться было некуда, и повезли меня сниматься в Ясную Поляну. И по дороге произошла история.

Я, конечно, при бороде. И Питер со мной. А ехали мы на «Чайке», списанной машине начальства. На той самой, которую у нас прозвали «членовоз». А выехали мы раа-ано! И тут посреди дороги жутко жрать захотелось. Смотрю — слева сельмаг, справа — пост ГАИ. И я говорю водителю:

— Притормози.

Он притормозил, а на посту — милиционер. Он как увидел... Конечно, подумал, что какую-то правительственную машину пропускает, а его не предупредили. И он ссыпается по лесенке и несется к нам. А я забыл, что я — Лев Николаевич-то... Открываю дверцу и вылезаю.

Господи, что тут с бедным милиционером случилось! У него лицо судорогой свело, вот клянусь! И слова не может сказать, только:

— Ва! .. Э! .. — и отмахивается, как от пчел.

А я решил подыграть и говорю:

— Подожди, милейший, граф есть хочет. В сельмаге есть что-нибудь?

Он трясется, как осиновый лист, и ртом воздух хватает.

— Нет! .. То есть да!

И как дунул через дорогу! Питер трясется от смеха, а я ему говорю:

— Ты молчи! Ты мой слуга из Англии.

А в сельмаге действительно и «нет» и «да»: одни сушки. И на том спасибо, моему «слуге» понравились. Потом мне рассказывали, что, когда Питер улетал в Англию, он увез с собой целый чемодан этих сушек.

Между прочим, министерству внешней торговли следовало бы задуматься над этим фактом. Не умеем мы торговать!

В общем, приехали мы в Ясную Поляну и все, что нужно было, отсняли...

Там был замечательный момент. Посадили меня за стол Толстого, и вдруг операторы-канадцы расхохотались, глядя куда-то поверх моей головы. Я поворачиваюсь: за моей спиной фотография Толстого за этим же столом, и он тоже делает вид, что работает, как и я.

И вот отсняли мы все и возвращаемся в Москву. Глядим — на том самом месте, у поста, пять милиционеров стоят.

— Питер, — говорю, — это нас ждут.

Притормаживаем, я вылезая из машины, и гаишники начинают хохотать.

— Дуров, — говорят, — твой на бюллетене!

— Кто это? — спрашиваю.

— Утренний. Он пришел к начальству и говорит: «С ума сошли! Толстой без охраны едет! А вы — ничего. Не приняли никаких мер! „Начальник спрашивает: „Вася, какой Толстой?“ А он: „Писатель! Знать надо!“ Начальник говорит: „Спокойно, Вася, сними портупею и сдай оружие...“ Разоружили его на всякий случай, позвонили домой и сказали: «Клава, твой — плохой, едет домой, вызывай врача“. Выяснилось, что у него был нервный шок. Дали бюллетень на десять дней.

Но оказалось, что это еще не конец этой истории. Когда Питер Устинов был уже в Англии, в журнале «Иностранная литература» вышел его рассказ «Лев Толстой и милиционер». Рублей семь получил, наверное, за него.

А после того, как у них там, в Англии, показали по телевидению сериал, мне прислали оттуда газету с рецензией. Серия, где я снимался в Ясной Поляне (она называлась «Бородино»), была признана лучшей. Пустячок, а приятно. А что? Не было бы Васи и сельмага



с сушками, я, может, и не вошел бы так органично в образ великого писателя.

### ***Есть на Волге утес!***

Имя комидраматурга Николая Михайловича Дьяконова стало широко известно после того, как на экраны страны вышел фильм «Свадьба с приданым», снятый по мотивам его пьесы. А мотивы эти были порой очень даже забавные.

Так, например, у Татьяны Пельтцер была проходная, эпизодическая роль. Ее героиня появлялась по ходу действия всего раза два-три, чтобы разрядить обстановку своими экстравагантными поступками и простодушно-острыми репликами. Татьяне Ивановне так понравились потенциальные возможности ее героини, что она упростила Николая Михайловича дать ей возможность побольше «поиграть». Дьяконов добавил ей несколько реплик.

— Вот видите, — сказала она, — совсем другое дело! Вот еще бы...

И автор еще добавлял — то реплику, то мини-монолог и в конце концов эпизодическая роль Пельтцер стала если не главной, то существенной: Дьяконову пришлось даже менять некоторые эпизоды и сюжетные ходы в уже готовом, казалось бы, сценарии. Ну а результат известен: роль артистки придала всему фильму яркий, динамичный характер, которого так не хватало пьесе.

Но Дьяконов был не только драматургом. В республиканском театре он ставил свои пьесы как режиссер и сам же играл в них.

Звание народного артиста Коми АССР он получил в тридцать с небольшим лет. А до этого...

До этого молодой артист объехал с гастролями всю свою республику вдоль и поперек. Играл в городах и шахтерских поселках, в сельских клубах и на оленеводческих стойбищах — везде, где только были люди, а сценической площадкой мог служить и ягель — олений мох.

Случай, о котором как-то рассказал Николай Михайлович, произошел в заполярной Воркуте. Известно, какое в Заполярье лето — с воробьиный нос. Правда, погода в это время неприхотливых северян и ласкает, и балует.

И вот городские власти решили сделать горожанам небольшой подарок: построили в чахлой рощице, которую громко называли парком, небольшой летний театр, а проще говоря, фанерную «ракушку»-примитивную крытую сценическую площадку, на которой могли бы показать свое искусство заезжие драматические актеры, певцы, фокусники и прочие гастролеры. А чтобы еще иметь прибыль от этой «культурно-массовой точки», ее огородили крашеным фанерным же забором, чтобы зрители, как все приличные люди, могли платить за вход, и установили несколько рядов лавок. В ту пору шахтеры были людьми денежными, и с них без стеснения драли за вход, как нынче за билеты в Большой театр. Наверное, все-таки это было сделано для того, чтобы зрители прочувствовали истинную цену высокого искусства, а не грызли бездумно семечки во время спектаклей.

А поскольку эта «точка» была рассчитана на короткое лето, ее и строили по методу «тяп-ляп», как говорят портные, «на живую нитку», чтобы не упустить драгоценные дни. Поэтому этот очаг культуры уже через месяц принял вид старейшего памятника архитектуры: электропроводка на сцене провисла, некоторые лавки были порушены, а на заборе

красовались фанерные заплаты, на которых краски уже не было.

Когда Дьяконов со своим товарищем Сашей приехал в Воркуту, там вся милиция стояла на ушах: накануне в самом центре города некие умельцы «взяли» ночью кассу управления шахты «Центральная». Как они умудрились это сделать, было пока не ясно. Со слов охранника выяснилось лишь, что в соседнем с кассой помещении вдруг в полночь в проводке произошло короткое замыкание. Раздался треск, полетели снопы искр, в кассе погас свет. Охранник на какое-то время растерялся, потом стал звонить пожарным, но телефон глухо молчал. Этажом выше стоял телефон конторы, и страж побежал туда. Наконец дозвонился. А когда возвратился на свой этаж, то успел заметить, как в конце коридора мелькнула мужская фигура и сразу же скрылась за дверью. Охраннику лишь запомнилось, что неизвестный был среднего роста, крепыш, а волосы у него свисали до плеч. Дверь в кассу была открыта настежь, дверца сейфа — тоже.

Работали мастера своего дела, которых в Воркуте всегда хватало: кругом лагеря, а где лагеря, там и беглые, и «отмотавшие» срок, и всякий прочий люд, падкий до поживы.

Короче, все горожане были под впечатлением этого дерзкого ограбления, знали все его подробности (опять же со слов охранника) — к ним и сводились все разговоры. Дьяконов это понял сразу, как только увидел лица своих смотрельщиков.

— Надо сразу встряхнуть их, — посоветовал он своему приятелю. — Сразу играем на форсаже. Не бойся переиграть, Сашок, они так взвинчены, что будет в самую пору.

А играли они известный отрывок из «Леса» Островского, где встречаются два старых приятеля-актера Счастливец и Несчастливец: «Откуда ты?» —

«Из Вологды в Керчь. А ты?» — «А я из Керчи в Вологду».

Дьяконов играл Несчастливцева. В небольшом закутке, который служил гримуборной, они подгримировались. Дьяконов, как и положено провинциальному трагику, надел парик с длинными немытыми космами, Саша взял на плечо свой посох, на который навесил узелок со скудным театральным реквизитом, и они вздохнули.

— Ну с богом, — и Несчастливцев первым вышел на сцену. Зрители замерли. Наступила какая-то странная напряженная тишина. «Затишье перед бурей», — не к месту подумал Дьяконов и сел на приготовленный заранее пенек. Он долго шарил по карманам в поисках табака, но так ничего и не нашел. И тут появился Счастливцев. Он почему-то все время оглядывался, а за его спиной болтался во все стороны на посохе тощий узелок.

Подали первые реплики. А зрители, кажется, их совсем не слушали — они о чем-то перешептывались между собой и показывали испуганными глазами на Несчастливцева. И когда непонятное напряжение в зале достигло предела, Счастливцев, удивленный очередной репликой партнера, резко повернулся, его посох задел за свисающие провода, раздался треск, посыпались снопы ярко-белых искр — и свет погас.

Зрители в ужасе вскочили с мест и бросились к выходу, началась давка. И тогда наиболее догадливые проломил фанерные листы забора, и люди ринулись в рощу. Выручили белые ночи, иначе никак бы не миновать членовредительств.

Сбежалась милиция, раздались тревожные трели, какой-то страж порядка в растерянности бабахнул из своего табельного орудия в воздух. Завизжали женщины, и паника стала разрастаться, как снежный ком.

Счастливец с Несчастливым, спасаясь от искр, спрыгнули со сцены и не знали, что делать. Тут их и приметили, одиноких и растерянных.

— А-а, сволочь, попался!

Бдительный страж порядка одной рукой схватил Несчастливеца под локоть, а другой — за волосы. И вдруг эти волосы остались в его пятерне — парик! А тут еще у обоих артистов потек грим.

— А-а, падлюки, замаскировались!

— Мы артисты! — завопил Дьяконов.

— Это и так видно! Гастролеры! — обрадовался старшина и изо всех сил дунул в свой свисток.

Сбежались его коллеги. Артистов скрутили, и Дьяконову досталось больше, чем его напарнику. Во-первых, потому что он был в парике, похожем на парик грабителя, а во-вторых, истошно вопил:

— Я — Несчастливец!

— А твой друг, думаешь, счастливцев? — ядовито спросили его.

— Да, Счастливец!

И за эту «шутку» ему добавили еще пару горячих. Милиционеры, видно, Островского не читали и спектакль не смотрели. А в милиции уже рапортовали высшему начальству:

— Все очень просто, товарищ генерал! Взяли тепленькими! Все улики налицо! Замаскировались, сволочи, да нас не проведешь!

Не знаю, что им за это пообещал генерал, но через короткое время из столицы республики Сыктывкара раздался звонок и грозный голос сказал:

— Вы что там — совсем офонарели? Хотите, чтобы я вас всех разогнал? Чем вы занимаетесь, мать! ..

Разобрались.

Но ведь ребятам надо было играть Островского дальше. А у Несчастливеца морда такая, что никакой

грим не поможет. И тогда они придумали за Островского еще несколько реплик:

«— Послушай, брат! — восклицал Счастливец. — Кто тебя так разукрасил?

— Кто меня может разукрасить?! — гневно спрашивал Несчастливцев. — Ты же меня знаешь — я сам кого хочешь разукрашу! А это... Я был на Волге, брат, и очень мне захотелось подняться на утес Стеньки Разина... Помнишь, «Есть на Волге утес...» Упал я с него, брат, и расшибся. Крепко расшибся. Что ж, шрамы украшают трагика».

А дальше все шло по тексту.

## ***Люди и звери***

Убежден, что о человеке можно судить по тому, как к нему относятся животные. На одного собака бросается с рыком, а перед другим падает на колени и лижет ему руки. Почему? Я не знаю. Собака знает.

О своем коте Мишке я уже писал не раз. Он считает себя в доме хозяином. «Ты к кому пришел? — молча спрашивает он каждого входящего. — Ты не к Дуровым пришел, ты ко мне пришел, и поэтому веди себя достойно».

Умница!

Да что я все о Мишке да о Мишке! Давайте поговорим о других зверюшках, которые встречались на моем пути и оставили в моей памяти, как писали раньше высоким стилем, «неизгладимый след».

А я своим братьям меньшим никогда не отказывал ни в уме, ни в сообразительности. А уж инстинктов-то достаточно и у людей.

## ***Нужно договариваться***

Абсолютно уверен, что если с животными всегда можно договориться, то с людьми — и подавно. Неужели мы хуже животных? Вспоминаю случай в Бахчисарае, где мы снимали фильм. Там медведь сорвался с поводка и со страшным рыком пошел на массовку. Все оцепенели, будто парализованные, боялись сделать хотя бы одно резкое движение. Мне, потомуку великих дрессировщиков, ничего не оставалось делать, как выйти навстречу зверю. Я подошел к нему вплотную и, не повышая голоса, сказал:

— Ну как тебе не стыдно? Такой большой, здоровый и пугаешь мирных, беззащитных людей. Что они тебе сделали плохого? Ну подумай сам, и тебе станет совестно.

Медведь пробормотал что-то, опустил голову, повернулся и медленно побрел назад. Смутился? Наверное.

## ***Мой друг Яша***

Как-то двенадцатилетний внук Ваня пригласил меня в Уголок Дурова, в Театр зверей, где у него должен был состояться дебют в качестве ассистента в номере с пеликанами и верблюдом Леопольдом. Перед представлением собралась большая толпа. И тут раздался крик:

— Расступись, народ! Дорогу Яше!

Народ расступился, и в образовавшемся проходе появилось странное существо в шляпе — это и был любимец публики Яша. Обезьяна, увидев меня, остановилась, взвизгнула и бросилась мне на шею.

Ошалевшего от радости Яшу с трудом удалось оттащить от меня. Клянусь, до сих пор мы с ним ни разу не встречались! А вот ведь признал одного из представителей династии Дуровых-дрессировщиков.

Вообще я с животными очень часто на «ты». Бывают, правда, исключения, как, например, история с коровой Милкой, которая облаяла меня. Но она была алкоголичкой вместе со своей хозяйкой тетей Симой, которая и споила ее. Но я об этом уже писал, а кто забыл, еще раз напомню. А вот с кем у меня не складываются отношения, так это с лошадьми. Это какое-то наваждение. Как только на съемках раздается команда: «Мотор!», а я должен сесть на лошадь, она обязательно падает. Казалось бы, мы просто обязаны чувствовать друг друга: ведь в моем роду была знаменитая кавалерист-девица Надежда Дурова. Ан нет! Может, у меня какое-то особое биополе, несовместимое с лошадиным? Не знаю.

Когда я снимался в фильме «Не бойся, я с тобой!», то решил покататься верхом и выбрал, на свою голову, самую сноровистую лошадь. Она меня так лягнула, что я пропахал несколько метров, разворотил ограждение, врезался в дерево и сломал сук. Кое-как поднялся с седлом на шее.

Моя сестра Наталья Юрьевна Дурова, художественный руководитель Театра зверей, сказала мне как-то:

— Лева, пора тебе менять профессию. Предлагаю сделать спектакль в нашем театре и выступить вместе.

— С удовольствием, — согласился я. — А пока мы будем придумывать сюжет, возьми меня в свой номер. Я буду вместо Яши выходить на публику и бить в бубен.

***Лебединая песнь***



Один из ставших впоследствии крупных русских дрессировщиков начал свою карьеру с единственной лошадью. Это была потрясающе умная лошадь! С ней он разбогател, заимел прекрасную конюшню, но со старой лошадью никогда не расставался и повсюду возил ее с собой. У нее было свое стойло, где она, чтобы не потерять мастерство, постоянно перебирала ногами и кивала всем проходящим своей умной головой.

Как-то ночью рабочий услышал на манеже странный шум. Он выглянул из-за кулис и увидел старую лошадь, которая плясала в пустом цирке и дарила на все стороны поклоны. Рабочий позвал дрессировщика. Тот вышел на арену, сказал своей старой подруге соответствующие торжественные слова — и увел за кулисы.

А потом и дрессировщик, и лошадь долго плакали, прижавшись друг к другу.

— Вот, — шептал дрессировщик на ухо лошади, — вот и я скоро так же буду взбрыкивать ногами...

### ***Наши прошли***

Не знаю, кто от кого произошел: мы от обезьян или обезьяны от нас. Но то, что у нас с ними много общего и в характерах, и в поведении — это уж точно.

Полковник спецназа рассказывал об одном интересном случае, который произошел в Анголе. Тогда мы вместе с кубинцами помогали молодой республике отстаивать ее независимость. Ведь нас хлебом не корми, только дай отстоять чью-нибудь независимость. Кроме своей, конечно. На это у нас нет ни средств, ни времени.

Отряд полковника вторые сутки продирался сквозь джунгли, пытаясь выйти на след другого отряда, с

которым должен был соединиться. На связь не выходили, чтобы их не засекли. И в какой-то момент командир засомневался: а не сбились ли они с пути? И тогда старшина, который прослужил и в Анголе, и в Эфиопии (ей мы помогали строить социализм) чуть больше полковника, успокоил:

— А это мы сейчас проверим.

Они подошли к большой поляне, старшина дал знак всем остановиться и затаиться в зарослях, а сам достал из рюкзака початую бутылку водки, из горлышка которой торчала пробка. С ней он вышел на середину поляны, что-то прохрюкал, попрыгал, подражая обезьяне, поставил бутылку на землю и вернулся.

— Подождем.

Ждать пришлось не долго. Горилла появилась с другой стороны поляны как-то неожиданно. Осмотрелась и спокойно направилась к бутылке. Она ничего не опасалась — у нее здесь не было достойных врагов. Эта длиннорукая махина под два метра весила, пожалуй, не меньше четверти тонны. Она села рядом с бутылкой и тяжело вздохнула: «Пить или не пить?» Потом решительно взяла бутылку, вытащила зубами пробку и выплюнула ее далеко в сторону. А дальше, как говаривал наш экс-президент, процесс пошел.

У спецназовцев отвисли челюсти: чем-то родным, расейским повеяло от этой сцены. Старшина был доволен.

— Ну вот, командир, — улыбнулся он, — значит, наши уже здесь прошли. И, стало быть, правильной дорогой идете, товарищи.

— Я хотел представить эту зверюшку к награде, — вполне серьезно закончил полковник. — Хотел оставить ей еще бутылку. Да старшина меня отговорил. «Во хмелю, — сказал он, — гориллы бывают очень буйными. Совсем как люди». А может, люди совсем как они?

## Пулька

В молодости, когда я был совсем мальчишкой, я часто ездил в Махачкалу к своим родственникам. А у их соседей была собака Пулька о трех ногах. Она очень странно бегала, делала несколько прыжков, спотыкалась, переворачивалась через голову и опять продолжала бежать.

Я спросил у хозяйки, что с ней случилось, и она мне рассказала грустную военную историю.

Как ее звали раньше, никто уже не помнит. Пулькой ее прозвали позже. В то время в Махачкалу, кажется, по лендлизу, приходило американское вооружение. Каким образом оно приходило через Каспий, понять не могу. Сюда же прибывали суда с американской тушенкой. А однажды даже пришла баржа с кокосовыми орехами. Их разгрузили на пирс, они долго лежали огромной грудой и стали гнить, распространяя гнилостный запах по всему городу. Кончилось тем, что эти орехи бульдозерами скинули в море. Тогда никто не знал, что это за продукт и что с ним делать. А американцы тоже не имели понятия, что мы едим и что нам нужно.

Так вот о Пульке. Она тогда была еще о четырех ногах. Однажды она притащила раздавленную банку тушенки, и хозяйка эту тушенку скормила Пульке. Собака была умная, и она сообразила, что эти банки помогут им с хозяйкой выжить. Она стала бегать в порт, воровать консервы. Хозяйка кормила ее и кормилась сама. Потом стала менять эти консервы на хлеб, на носильные вещи и стали они жить с Пулькой более-менее сносно.

Но однажды часовой на складе обратил внимание на эту собаку и что-то заподозрил. И когда Пулька в очередной раз пришла за добычей и с банкой тушенки побежала через железную дорогу, он вскинул карабин и

выстрелил. Пуля попала Пульке в лапу. Часовой подумал, что пристрелил ее, а Пулька пришла в себя и приползла к хозяйке. А банку тушенки, которую она уворовала, так и не выпустила из зубов.

Хозяйка отрезала у Пульки отстрелянную часть ноги, перевязала ее, и Пулька стала жить дальше.

А потом с ней произошло вот что: она стала ненавидеть военных. Свою ненависть она проявляла своеобразно. Она не гавкала, не рычала, но, когда мимо ворот проходил военный в ботинках, она кусала его за икры, если в сапогах — подпрыгивала и хватала за ляжку. После чего ныряла под ворота к себе во двор. Начинался скандал. Обиженный стучал в калитку, выходила хозяйка и удивлялась:

— Какая собака?

— Да она кусает прохожих! Меня вот только что укусила!

— Заходите, посмотрите — у меня вообще никакой собаки и в помине нет!

Заходили во двор, смотрели. Действительно, никакого лая, никакой собаки.

— Ну что? Зайдите в дом. Где вы видите собаку?

Собаки в самом деле нигде не было. Извинялись и уходили. А Пулька вырыла себе под крыльцом нору и пряталась там после своего очередного «подвига» до тех пор, пока не уляжется скандал. А потом вылезала и ждала очередного военного. Так она мстила за свою потерянную лапу.

Давно закончилась война, а она все мстила людям в погонах...

***Не обижайте детей!***

Время было сложное. Я уезжал от своих родственников из Дербента без копейки. И напрашивался на попутки, и меня везли от аула до аула. Побывал я в Кубачах, который славится своими мастерами-чеканщиками на весь мир — оружие, женские украшения, — побывал и в Гунибе — на родине Шамиля.

И вот сидел я как-то в Нижнем Гунибе на площади и ждал попутку. А в нескольких метрах от меня лежала кутанская собака.

Кажется, это кавказская овчарка — могучая грудь, огромная голова и довольно подвижное и сравнительно небольшое тело. И эту кутану сосали щенки, милые прелестные щеночки. И мама блаженствовала.

И тут в клубах пыли на площадь въехала грузовая машина. Я понял, что она едет не в мою сторону, и продолжал спокойно сидеть. А в кузове, вижу, торчат три папахи. Машина постояла-постояла и тронулась. И тут приподнялся человек в папахе и бросил арбузную корку. И она попала прямо в одного щенка. Тот взвизгнул. Кутана вскочила, стряхнула висящих на ней щенков и огромными прыжками, наращивая скорость, стала догонять эту машину. Догнала. И прыгнула через задний борт в кузов. Старики в машине завизжали, полетели папахи. Машина остановилась, старики попрыгали из нее — у одного окровавленная рука, у другого штаны в клочьях. Из кабины тоже выскочили, стали что-то орать.

И тут из сакли, около которой я сидел, спокойно вышел человек с ружьем, переложил его, вставил в стволы два патрона и что-то спокойно сказал этой маленькой толпе. Все притихли, а человек опустил ружье и вернулся в саклю. Собака перепрыгнула через борт, подбежала к щенятам, легла к ним и сталализывать свою окровавленную грудь. Щенки

ухватились за ее соски, а машина с ругающимися пассажирами поехала дальше.

Я знал, что кутанские собаки спокойно идут на трех волков. Теперь я увидел, как она идет и на людей, которые не понимают, что детей обижать нельзя.

### ***Котозаяц***

Когда я играл Анастаса Микояна в фильме «Серые волки», мы поехали сниматься в Завидово — это правительственный заповедник. Там начинается сцена охоты на волков. Никто, конечно, никаких волков не убивает. Их сшибают снотворным, обливают красной краской, и они спокойно лежат. Спят.

Стою я как-то и чего-то жду. А рядом топчется какой-то человек в телогрейке. А за отворотами телогрейки вижу на нем синий мундир. И солдатская ушанка сидит на нем как генеральская папаха. Весь подтянутый, красивый, и у него такое замечательное лицо: загорелое, здоровое. И его южный загар резко контрастирует с белым-белым снегом. И вот этот красавец долго топтался вокруг меня, пока я не выдержал и не спросил:

— Вы что-то хотите мне сказать?

А он и спрашивает:

— Константиныч, ты знаешь, кто я такой?

— Нет, — говорю, — не знаю.

— Я егерь Политбюро.

— Прости, — говорю, — но Политбюро уже сто лет как нет.

— А вот про меня забыли.

Вытаскивает трудовую книжку и показывает. Читаю — и действительно: «Главный егерь Завидовского заповедника».

— Вот, — говорит, — вы про Хрущева тут снимаете, а ты знаешь, что Хрущев мне чуть всю жизнь не искалечил? Сейчас поймете, о чем идет речь.

И пока он рассказывал мне свою историю, я и плакал, и губы себе перекусал. Перескажу эту историю так, как я ее запомнил.

«Помните, — начал он свой рассказ, — когда Вальтер Ульбрихт был у нас в России самым дорогим гостем? Никита всегда встречал его как родного. Уж и не знаю, чего он так полюбил его. Бог с ним. И вдруг звонок: Хрущев с этим Ульбрихтом приезжают на заячью охоту. А зайцев у нас в заповеднике нет! Что делать?»

Ну мы привыкли ко всему. Приезжают члены Политбюро, им солдаты вытаскивают оленей, кабанов, кому что нужно. Они их стреляли и хвастались потом своими охотничьими трофеями.

Делать нечего, поехал я в соседнее хозяйство, поменял на бутылки зайцев и привез их в клетке... А зайцы, паразиты, оказались очень хитрыми и умными. Они ночью умудрились открыть эту клетку и удрали.

Утром мне говорят:

— Слушай, главный, нет зайцев — все ушли.

— Братцы, — говорю, — что же будем делать? А в это время слышу: «Вау! Вау! ..» — сирены орут. И едут с мигалками «членовозы». Я выбегаю навстречу и уже понимаю, что мне сейчас будут кранты, зная крутой характер Никиты. И вот машины останавливаются, и вылезает из своей Никита. Я поприветствовал его и говорю:

— Никита Сергеевич, знаете, сейчас не сезон и зайцев в заповеднике нет.

Тут он побагровел и стал топтать ногой. Кричит:

— Как нет? На Руси нет зайцев? Да я тебя сгною! У тебя дети попросят хлеба, а знаешь, что ты им дашь? Вот что ты им дашь!

И показывает определенный жест, что я им дам.

Короче, орал он, орал, орал, а потом и говорит Ульбрихту:

— Пошли.

И они зашли в охотничий домик.

Я стою и думаю: «Действительно, он меня, конечно, выгонит, а что я детям дам?..» И тут мне в голову приходит потрясающая идея.

Я вспомнил, что у нас в баньке висят заячьи шкурки. Какого черта они там висели — понятия не имею. Но я подумал: поймаем на помойке кота, зашьем его в шкурку и выпустим под стволы. Все равно руководители сейчас напьются и ни хрена не поймут. Так наш номер и пройдет.

Послал я ребят на помойку, они поймали одного голодного кота сеткой и зашили в эту заячью шкурку. Но, как известно, коты очень своенравные животные, самолюбивые и страшно обижаются, когда над ними измываются».

Здесь я перебею рассказ егеря и в подтверждение слов рассказчика расскажу историю своего кота Марта. Это был замечательный кот. Его кто-то выбросил из форточки в марте (отсюда и его имя), мы его подобрали и выкормили из пипетки. Это был преданный дому кот.

А тут как раз был юбилей Юрия Никулина, и мы с котом пошли его поздравлять. Март должен был читать приветственный адрес юбиляру. Я был уверен, что кот прочтет. Мы вышли с ним на сцену, и, как я ни пытался заставить его читать, он отказывался. Я его стыдил:

— Как же так! Мы с тобой репетировали дома, и ты прекрасно читал. Ну тогда просто скажи Юрию Владимировичу, что мы поздравляем его с юбилеем. Ну скажи!

Кот, конечно, молчит. Тогда я говорю:

— Ну скажи просто — Юра!



Он опять молчит. Мы уходим с ним за кулисы. А у меня была уже приготовлена кровавая рубашка, а на теле мне нарисовали кровавые полосы. И через секунду я вылетал из-за кулис, как бы истерзанный котом. Брал с пола приветственный адрес и зачитывал его. Успех был ошеломляющий. Даже Карандаш сказал:

— После Дурова я не выйду на сцену.

Хотя у него поздравление было с живым крокодилом.

Прошу прощения у егеря, что я его перебил.

«Так вот, — продолжал егерь, — когда мы зашили кота в заячью шкурку, его вроде как бы парализовало. Он, видно, не мог понять, что с ним делают. Получился этакий котозаяц. Он не бежал, не прыгал, а мог только ползти.

Значит, после этой процедуры иду я в охотничий домик... Стучусь. Захожу.

Никита увидел меня, нахмурился.

— Чего тебе? — спрашивает.

— Зайцы, — говорю, — появились.

— Ну вот! А ты говорил, что зайцев нет! Ульбрихт, пошли!

Они хватают ружья и выскакивают на крыльцо. И видят, ползет это чудовище — котозаяц! Они вскидывают стволы и — бах! бах!

И вдруг этот заяц: «Мя-а-у!» — и на сосну. Ульбрихт от такой сцены упал в обморок. А Никита орет:

— Второй раз Германию победили! Завалили немца!

Тут вызвали «неотложку», Ульбрихта увезли, а Никита еще три дня пил в этом домике. И каждое утро выходил, чтобы посмотреть на кота, который сидел на ветке и боялся спуститься вниз.

— Все сидишь? — спрашивал его Никита и предупреждал охрану: — Вы мне этого зайца не трогайте. Не стреляйте в него. Он мне второй раз Германию победил!

На третий день «заяц» пропал, видно, все-таки сполз от голода. А Никита, уезжая, все спрашивал и наказывал:

— Вы запомнили его? Смотрите, не стреляйте.

А потом по распоряжению Никиты мне выдали премию. Правда, не знаю, за что.

А еще позже Никита рассказывал, как он был в больнице у Ульбрихта и тот сказал:

— Никита, какой же дурак был Гитлер, что пошел на державу, где зайцы по соснам лазят.

### ***Медведь-велосипедист***

Мы снимали дом в Осташкове. А в те места каждый год приезжали иностранцы — охотники на медведей. Они платили за лицензии какие-то большие суммы. А если заваливали медведя, то должны были заплатить, если не ошибаюсь, что-то около десяти тысяч марок. В основном приезжали немцы из Западной Германии.

Вот как-то приехал такой немец, поселился в гостинице Осташкова и ждет, когда ему найдут медведя в берлоге. Он живет, а медведя все никак не найдут. Нет медведя! А срок лицензии кончается, и десять тысяч марок накрываются медным тазом. Что делать?

И тут кто-то вспомнил: в соседнем городе работает цирк, и у них есть медведь, у которого обнаружили катаракту, и поэтому он уже не может работать, и его решили усыпить. И умные ребята рассудили: все равно ему погибать, поедем возьмем его для дела.

Приехали, посмотрели. Медведь действительно сидит грустный в клетке. Ну они расплатились за него водкой и привезли к себе.

Тут же доложили немцу, что наконец-то медведя прикормили на овсах и завтра надо идти на охоту.

Немец затемно залег на овсах со своим ружьем и ждет. Егеря сняли с медведя намордник и выпустили. Ну, Мишка, наверное, подумал, что начинается спектакль и пошел на задних лапах, как по манежу. А передними размахивает и кланяется во все стороны.

А тут тропинка была, и по ней ехала дачница на велосипеде с авоськой, в которой лежали продукты. Она увидела этого медведя — брык! — бросила велосипед и кинулась бежать. Медведь не погнался за ней. Он спокойно подошел к велосипеду, поднял его и поехал.

Этот немец два месяца пролежал с инфарктом в реанимации в осташковской больнице. Потом его перевезли в Калинин.

Не знаю, чем закончилась история с марками, но, думаю, немцы надолго запомнили и заячью, и медвежью охоту.

### ***Мой барельеф***

Для иностранца, конечно, всякое русское животное — экзотический экземпляр. Но мне самому всю жизнь попадаются странные животные. С отклонениями.

Вот помню случай, который произошел со мной, когда я еще учился в школе-студии. Мы всем курсом выехали как-то в Подмосковье к кому-то на дачу. Развеемся. И вот во время пирушки я увидел мирную буренку и решил изобразить перед ней тореадора.

Это уж потом, лет через тридцать, я прочитал, что корова опаснее быка, потому что она во время атаки глаза не закрывает, а быка тореро практически водят за нос.

Так вот, паясничал я перед этой буренкой, паясничал, ей, видно, это осточертело, и она прыгнула на меня. И я в тяжеленном дядюшкином пальто рванул стометровку, как Джонсон. Сзади что-то ударило по голове, я упал лицом в траву и решил, что меня забодали. Встал на колени и понял, что вдобавок ослеп. Пощупал лицо рукой — что-то не то. И снял с лица... засохшую коровью лепешку, в которой четко отпечатался мой барельеф, как посмертная гипсовая маска Петра Первого.

Однокурсники торжественно повесили «навозный барельеф» на гвоздик, открыв «буренкинско-дуровский мемориал».

А буренка, сказали мне, вовсе и не пыталась за мной бежать. Просто она не привыкла видеть перед своими глазами фиглярство и прыгнула, чтобы пугнуть меня. А на «финише» я наступил на грабли, и удар пришелся точно по затылку.

### ***Корова тети Симы***

Буренки... Будто бы безобидные животные, травоядные, а сколько я с ними натерпелся!

Однажды приехали мы со съемочной группой в деревню Гущи на озере Селигер. Там должны были снимать эпизоды одного фильма. Все идет хорошо. Работаем. И вот как-то ребята мне говорят:

— Лева, ты вон в ту избу пойди. Там живет замечательная тетя Сима, она молоко парное дает с черным хлебом. Вкусно-о!

И я пошел. Открываю калитку, вхожу во двор... Вдруг из-за угла выскакивает корова, по-собачьи бросается в мою сторону и... лает! Лает на меня, как пес цепной, и все движения у нее собачьи. Бог мой!

Я вылетел на улицу, упал в пыль. Вслед за мной выскакивает эта самая тетя Сима и орет, сначала мне:

— А, артист! Испугался! То-то же! — потом корове:  
— Пойдем, Милка, домой!

И Милка, как собака, мирно пошла за ней.

Что же оказалось? Тетя Сима — сама алкашиха и корову свою споила: каждый день подливала ей в поило самогон. Хмельная корова общалась только с одним живым существом — с хозяйской собакой. С пьяных глаз и стала ей подражать. А потом у коровы высохло вымя, она вконец утратила «национальное самосознание», научилась лаять и бросаться на чужих..

Вот я и думаю: если уж среди нас немало странных людей, то почему бы и не быть странным животным. Ведь они, как и Милка, тоже, видно, любят подражать. Кому? Да тем, среди которых и живут — конечно же, людям!

Вот с нами в семье живет кот Миша. Правда, он не лает, как корова тети Симы, но его и так все боятся: он огромный, как рысь, и умный, как человек. Мы долго не знали, что это за порода. А потом мне попался кошачий журнал, и выяснилось, что Миша — иностранец: «норвежский лесной». Представляете? Любит холод, ласки презирает. И все время норовит показать, кто в доме хозяин. К любому гостю прыгает на колени, сидит и смотрит прямо в глаза с таким выражением: «Ну, ты понял, к кому пришел? Ты не к Дурову в дом пришел, а ко мне. И веди себя соответст венно».

Ну откуда это самомнение? Понятия не имею.

А с другой стороны, те мирные животные, которые меня чуть не забодали, не зашибли, мордой в свои «лепешки» тыкали, вовсе и не странные. Может, они мне мстят за то, что я изменил фамильной традиции? Ну как же! Два Дуровых, Владимир и Анатолий, прославились как цирковые артисты, великие дрессировщики. Наталья Дурова — руководитель

Театра зверей. А я прервал эту традицию, когда ушел в драматический театр. А тут еще слегка подправил родовой герб Дуровых.

Герб такой: два льва с двух сторон держат золотой щит, на котором изображен черный орел с красным змием в когтях. Так я — как первый в роду актер — красного змия в зеленый переокрасил. И змия даже обидел! Но змеи пока еще — тьфу, тьфу! — меня не кусали.

А вообще, возвращаясь к своим баранам, кто кому подражает, еще вопрос. Вот я вспомнил старую байку.

Кинорежиссера-мультипликатора и художника Котеночкина знают все — от мала до велика («Ну, погоди!»). Кошечкин, поэт и критик, такой славой обделен. Однажды молодой литератор спросил у ветерана пера:

— Кто такой Кошечкин?

— Бывший Котеночкин, — был ответ.

Не знаю, какой смысл заложил в эту байку ее автор. Скорее всего, ему просто показалось забавным обыграть фамилии. Но фамилии-то опять из мира животных! Стало быть, не только «братья меньшие» любят подражать нам, но и мы, люди, не считаем зазорным перенимать у них кое-что, без чего можно было бы вполне обойтись. Ан нет! Не обошлись.

### ***Мексиканская савраска***

Вот я упомянул, что мой кот Мишка на поверку оказался норвежцем. Об этом мы узнали уже потом. А если бы знали раньше, то, конечно же, назвали бы его или Нильсеном, или Ганриком, или другим звучным именем. Но теперь что об этом... Да и «Мишка» звучит не хило. К тому же и воспитание и образование у него

чисто российское, и о Норвегии он не имеет никакого понятия. Поэтому считать его норвежскоподданным просто глупо.

К чему я клоню? А к тому, что до сих пор рассказывал только о наших, отечественных животных. Так сказать, о родных. И какими бы странными они ни были, мы, соотечественники, в отличие от иностранцев всегда можем понять их психологию. Но нам трудно понять поведение, если можно так сказать, животных-иностранцев.

Правда, случай, происшедший со мной в Латинской Америке, наверное, все же связан с чертовщиной, с ведьмачеством. И животное здесь действовало под чьими-то колдовскими чарами.

Сам я к «потусторонним явлениям» отношусь скептически. Но однажды мой скепсис был подвергнут серьезному испытанию.

Это было в Мексике. Мы снимали фильм. И как-то утром режиссер собрал всю русскую группу и говорит:

— Сейчас мы едем в город Катемака. Только что там закончился слет черных ведьм. Я умоляю отнестись к моим словам серьезно: если кто-то из вас вдруг заметит на себе пристальный женский взгляд — отворачивайтесь и бегите!

Провели мы в этой Катемаке нормальный рабочий день. А после съемок я решил сфотографироваться на память. Там в массовке снимался один местный парень на настоящей ковбойской лошади. Я попросил у него — для экзотики — сомбреро и пончо, нарядился и взгромоздился на седло. Лошадка была смирная, рабочая, у меня — ни шпор, ни хлыста. Приосанился я и говорю кому-то из наших актеров:

— Фотографируй!

И вдруг моя мексиканская савраска начинает пятиться, пятиться... и втискивается вместе со мной в невероятно узкую щель между какой-то бетонной

стеной и толстенной пальмой! Резким движением поворачивает ко мне морду и со всего маху ударяется головой о пальму! Делает стойку и заваливается назад. Понимаю: всё, конец — сейчас на меня рухнет махина в полтонны весом... И мы падаем! Рядом!

На следующий день приходит ко мне в номер наш оператор Толя Мукосей и спрашивает:

— Слушай, когда вчера в Катемаке снимали, говорят, лошадь на тебя завалилась. И где ты лежал?

— Между бетонной стеной, — говорю, — и пальмой.

— Точно?

— Ну а как же! Я от пальмы отжимался что было сил и головой упирался в стену. А чем ты озабочен?

— Ты, — говорит, — там не мог лежать. Мне показали это место — там даже лошадь одна не помещается.

В ближайший выходной поехали мы с ним в Катемаку. Взяли операторскую рулетку. Замерили. Точно! Пространство настолько узкое, что там и жеребенок не уместился бы — ширина седла, не больше. Ни бетонную стену, ни пальму отодвинуть, сами понимаете, невозможно. Но я там лежал! Рядом с лошадью!

Режиссер объяснил невероятное происшествие так:

— В массовке явно была ведьмачка, это ее работа. Вы же громче всех подшучивали над моими предупреждениями. Вот она вас и напугала.

С другим артистом из нашей группы неприятность приключилась похлеще моей. У него, когда мы вернулись из Мексики в Москву, дикие боли в сердце начались. Просто умирал! Врачи ничего понять не могли, никакой болезни не находили. Продолжалось это около года. А потом ему один художник посоветовал, специалист по магии и чертовщине всякой: мол, в момент приступа постарайся как можно более ясно



представить крест. Большой, деревянный. И пусть этот крест в твоём воображении вспыхнет.

Больной так и сделал. И все прошло. В одну секунду, после года бесполезного лечения и мучений.

Но я так до сих пор и не понял: то ли действительно мексиканские ведьмачки такие зловредные, то ли эта ковбойская савраска оказалась со странностями.

Все-таки, что ни говорите, а иностранные животные здорово отличаются от наших и характером, и поведением.

### **«Дрессировке не подлежит»**

С такой характеристикой зарубежная фирма должна была доставить к советской границе слониху. Там ее предстояло принять представителю Театра зверей имени В. Л. Дурова. Встретить слониху приехала Наталья Юрьевна Дурова. Это понятно — прибывало редкое животное, требующее особого внимания. Слониху приобрели за валюту. Правда, стоила она относительно недорого. Объяснялось это ее агрессивным характером, проявившимся в Европе.

Наталья Юрьевна стояла у контрольно-пропускного пункта на пронизывающем ветру, а автофургона все не было и не было. Наконец машина появилась, но двигалась она очень медленно, несколько раз останавливалась. Когда автофургон подъехал, оказалось, что слониха в пути взбунтовалась: разгромила часть фургона и своим нежным хоботом выбросила на дорогу горячую печку. Хобот был в ожогах. Слониха никого к себе не подпускала. Пограничники переглянулись и на всякий случай проверили свои автоматы.

— Стрелять не придется, — твердо сказала Дурова. — Главное — спокойствие, — и пошла к фургону.

В ее карманах, за пазухой пальто были морковь, бананы, сахар — самые желанные слоновьи лакомства.

Слониха коснулась вошедшего человека хоботом и осталась неподвижной.

— Bravo, моя крошка! — по-немецки сказала Наталья Юрьевна. Знакомство состоялось. Слониху доставили в Москву в Театр зверей. Ввели в приготовленный вольер.

— Тебя здесь никто не обидит, — ласково говорила Дурова. — Тебя здесь будут любить. — И в ее интонациях и жестах сквозило неподдельное сопереживание измученному дорогой, ожогами и ранами животному.

Предстояло изменить характер слонихи, завоевать ее доверие, найти с ней общий язык. Прошое должно быть забыто навсегда! Новое имя — новая жизнь. Каждый день Дурова приносила слонихе лакомства и ласково окликала: «Маша, Маша!» Наталья Юрьевна при всех своих многочисленных обязанностях директора и художественного руководителя каждый день несколько часов проводила с Машей — разговаривала, кормила, приручала. Понемногу начала с ней репетировать.

Маша освоила и исполняла различные трюки, в том числе традиционный для династии Дуровых. Его в свое время демонстрировал Владимир Леонидович Дуров. Заключался трюк в том, что слон перешагивал через артиста, который ложился на пол у его ног. Это один из самых опасных трюков народных игр в Индии. Решиться проделать такое со слонихой, несколько раз нападавшей на человека, было предельно рискованно. Но с Машей стали готовить этот трюк.

Вначале она перешагивала через лежащую перед ней подушку. В один из дней подушку убрали, на ее

место легла Дурова. Прозвучала команда. Маша не двинулась с места. На пол была брошена пригоршня сахара. Лакомство не могло соблазнить ее сделать шаг. Она явно опасалась нанести вред своей хозяйке.

Но постепенно Маша освоила этот трюк. На представлениях ей вручали свернутый коврик, она разворачивала его на арене. На коврик ложилась Наталья Юрьевна, и Маша сосредоточенно переносила через нее свои огромные ноги. Потом поворачивалась и галантно протягивала хобот, чтобы помочь дрессировщице подняться.

Судьба готовила испытание привязанности слонихи к своей хозяйке. Как-то, когда Наталья Юрьевна опустилась на коврик, а слониха уже подняла ногу, наступил полный мрак. Не светились даже аварийные лампы. Позже выяснилось — что-то произошло с подачей электроэнергии во всем микрорайоне. В темноте прозвучал тревожный шепот ассистента:

— Что делать?.. Что делать?

Дурова, не меняя положения, ответила так же тихо, чтобы не встревожить зрителей:

— Ничего не делайте. Оставайтесь на месте.

Из темного зала, заполненного людьми, доносился тревожный ропот. Когда через несколько томительных минут вспыхнул свет, слониха стояла уже с другой стороны от Дуровой и протягивала ей хобот.

Значит, в темноте она осторожно перешагнула, повернулась — исполнила все как положено и терпеливо ждала. Зал взорвался аплодисментами — наступила разрядка после нервного напряжения.

Было еще одно событие, в котором проявились привязанность и доверие слонихи к хозяйке. Обычно слонов демонстрируют на просторном манеже. На сцену, ограниченную кулисами, слонов не выводят: пол на сцене шаткий. Впервые в истории дрессуры слонов это животное, причем очень крупное, стало работать в

замкнутом пространстве сцены. Был снят инстинкт боязни шаткого, не приспособленного для таких гигантов пола сцены.

Когда Наталья Юрьевна приезжает в театр, Маша протягивает ей хобот и проявляет явную радость.

— Соскучилась? — спрашивает Дурова. — Я тоже соскучилась по тебе, мой верный друг!

## ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ

Это интервью журналист Анатолий Павленко взял у Л. К. Дурова накануне 70-летия артиста. И разговор шел отчасти тоже о «странных» людях...

— Лев Константинович, ваше детство проходило в сталинскую эпоху. Давайте поговорим и о других временах.

— Ну я посчитал, что пережил шесть или семь «императоров». Нет, шесть — начиная со Сталина. Когда к власти приходит новый человек, он невольно подбирает себе собственное окружение, и все в стране начинает меняться. Даже воздух меняется: люди дышат другим воздухом — или воздухом надежды, или воздухом настороженности, или воздухом страха. Но несколько эпох я все-таки проскочил, потому что было детство, была молодость — ты тогда многого не замечаешь.

— Что изменила эпоха Хрущева? Какие перемены были в «плюс», какие в «минус», что вы ждали от этого нового для вас времени?

— Вторая для меня эпоха началась, наверное, со смерти Сталина — в 1953 году. Это действительно другая эпоха. И с одной стороны, она все сдвинула и перевернула, а с другой — отголоски того времени живы до сих пор.

На Хрущева была надежда. Во-первых, человек он был очень демократичный и, так сказать, полууправляемый. Ну хотя бы вспомнить его «кузькину мать», о которой все иностранцы потом спрашивали: что это такое и кто этот страшный Кузьма, чьей мамой их всех пугают? И бедный переводчик Суходрев пытался им как-то вразумительно объяснить. Конечно, было много забавного. Но в течение долгого времени

Хрущев делал очень решительные шаги вперед. Все-таки с его разрешения, с его подачи впервые был напечатан «Матренин двор» Солженицына. Впервые появились молодые поэты. Кстати, они, наверное, уже и не помнят, но самый первый их вечер состоялся в Литературном институте. Я тоже там был и решил потом провести такой вечер в школе-студии МХАТ. Выступали все, начиная с Евтушенко...

— Ворошилов жил где-то здесь, на Фрунзенской набережной.

— Да, где-то здесь я его несколько раз встречал.

— Я знаю, что вы встречались и с Хрущевым.

— Хрущева видел трижды. Первая встреча произошла при открытии подземного перехода на улице Горького.

Второй раз я увидел Хрущева почти на том же самом месте. На углу улицы Горького и проезда Художественного театра находилось кафе-мороженое. Ну кафе-мороженое — это только название, потому что у нас с собой всегда «было». Мы заходили туда, заказывали мороженое, под столом разливали и делали вид, что едим то, что заказали. И вот стоим однажды в большой очереди. Вдруг с визгом подъезжает машина, и из нее выходят Хрущев и Тито. Они подходят к очереди (охрана вокруг засуетилась), и Хрущев спрашивает: «За чем стоите?» Ну все загудели: вот кафе-мороженое, очередь за мороженым. Хрущев говорит: «Броз, давай мороженого поедим». Тот согласился, и они встали в очередь. Все, конечно: «Никита Сергеевич, что вы! Проходите! Броз, проходите вперед! ..» Хрущев говорит: „Стоп! Куда же мне проходить, когда у меня и денег-то нет“. Тут кто-то из охранников подскочил: „Никита Сергеевич! ..“ — „Нет, — перебивает его Хрущев. — Ты охрана, ты и охраняй. Кто-нибудь даст взаймы?“ А у меня в кармане лежала пятерка. Я говорю: „Пожалуйста! ..“ Он

спрашивает: «А хватит?» Отвечаю: «Да, точно хватит, Никита Сергеевич». Тогда Хрущев поблагодарил меня и обратился к охраннику: «Запишите его адрес и пришлите потом деньги». Адрес мой записали: Бауманская улица, дом 3, квартира 6. И мне пришел перевод на пять рублей. А потом я узнал, что меньше чем на десять рублей переводы тогда не принимались. Все-таки авторитет Никиты Сергеевича нарушил даже почтовые правила.

— А в третий раз?

— А в третий раз я увидел его в Кремле. На елке. Хрущев должен был приехать с какой-то своей учительницей, но опоздал. И всех детей, которые уже посмотрели одно представление в Георгиевском зале, оставили на следующее, и они, бедные дети, все смотрели дважды. Приезжает Хрущев с этой своей учительницей. И начинается настоящий цирк. Георгиевский зал переполнен, Никита Сергеевич сидит с учительницей в окружении детей на стульчиках. А неподалеку сидит начальник кремлевской охраны — генерал-лейтенант (не помню уже его имени). И вот наш режиссер Леин, видно решив выслужиться, встает на четвереньки, подползает по ковру к Хрущеву и давай ему объяснять, что вот это, мол, поют, а вот танцуют... Тут его замечает генерал и к охранникам: «Это кто там ползает? Кто такой? Ну-ка быстро за жопу его и ко мне! „ Охрана тоже ползет на четвереньках, окружает Леина и в буквальном смысле за жопу тащит его к генералу. Генерал его спрашивает: «И чего там тебе надо?! « А Леин: «Ну, я рассказываю, объясняю Никите Сергеевичу...» На что генерал грозным шепотом: «А он что, по-твоему, дурак, да? Он что, без тебя не понимает, кто пляшет, кто поет? Ну-ка быстро отсюда! Ползком! « И Леин несчастный исчез.

А Никита Сергеевич досмотрел эту елку с радостью. На этом представлении, кстати, была занята масса

хороших артистов. Олег Николаевич Ефремов, например, был Добрым Молодцем и проходил с хоругвью в руках через весь зрительный зал. Гордо. Не говоря ни единого слова. Вот такая история...

Хрущеву, как человеку простому, эмоциональному, может, даже неуправляемому, со временем стало казаться, что он сумеет все: и в сельском хозяйстве разберется, и в том, и в другом, и в третьем... Он, конечно, понаделал массу ошибок. Но никто из приходящих «на престол» от этого не застрахован. А ему ошибки прощали. Даже художники простили ему разгром в Манеже. И, кстати, говорят, что он утром проснулся и сказал: «Не мешайте. Они все талантливые люди, пусть работают». И вот парадокс: он громил Неизвестного, Никонова...

— Да, он там построил всех по полной программе.

— Да не то слово! Он педерастами их называл. С Неизвестным была целая история. На той знаменитой выставке, глядя на его работы, Хрущев спросил:

— Как твоя фамилия?

— Неизвестный.

— Нет, кто ты такой?

— Я Неизвестный.

— Никита Сергеевич, — подсказывают Хрущеву. — Это фамилия у него такая — Неизвестный.

Тогда он говорит:

— А! Ну считай, что с сегодняшнего дня ты совсем неизвестный!

Потом, еще раз посмотрев на работы, Хрущев спрашивает:

— А где ты бронзу берешь?

— На помойках, — отвечает тот.

— Лучше сдавай ее государству, — советует Хрущев. — У нас очень мало цветного металла для шестеренок.

На что по легенде Неизвестный ответил:



— В метро у вас висит очень много идиотской бронзы. Снимите, переплавьте, и у вас получится очень много шестеренок...

И вот как все встало на круги своя: надгробие Никите Сергеевичу сделал Эрнст Неизвестный. И памятник получился очень хороший, и такой, прямо скажем, «в лоб»: колонна белая (и не прямая колонна, а изогнутая) — колонна черная, то есть его светлые и темные дела. А на полочке стоит золотая голова то ли крестьянина, то ли римского императора, то ли он плачет, то ли улыбается — понять трудно. Ведь Хрущев был очень сентиментальным, эмоциональным. Вспомните хотя бы, как он встречал Гагарина. Нормальный мужик, нормальный человек. Я знаю, что, став пенсионером, он увлекался фотографией. А говорят еще, однажды позвонил то ли Васнецову, то ли Никонову и попросил приехать и показать, как тот трудится — как грунтует холсты, как накладывает краску на холст. Не знаю, насколько это правда, насколько легенда, но говорят, будто бы Хрущев стал заниматься на даче живописью. Абстрактные полотна писал. И очень здорово. Ведь талантливое абстрактное полотно от дилетантского отличить очень легко. И, опять же по легенде, в день смерти Хрущева какие-то люди все полотна на территории его дачи сожгли. И кто знает, может быть, в тот день не стало русского художника-абстракциониста Никиты Хрущева. Эта легенда мне нравится, и я в нее верю.

— Давайте поговорим об Анатолии Васильевиче Эфросе. Вы настроены рассказать о ваших взаимоотношениях?

— Да, конечно, Шахазизов, директор Центрального детского театра, посмотрел мой дипломный спектакль и пригласил работать. Именно в этом театре я встретился с Анатолием Васильевичем Эфросом, и он занял меня в

пьесе «В добрый час! ». Надо сказать, что это была для меня огромная честь.

— Лев Константинович, как складывались ваши отношения с Анатолием Васильевичем?

— Однажды на каком-то моем юбилее Эфрос сказал, что «Левка» — самый близкий ему человек, которому он не боится показывать свои слабости. Но мы никогда с ним друзьями не были. Я всегда относился к нему как ученик к учителю, как к мэтру. Эфрос был создан только для сцены, только для театра. Он обязательно днем один час спал — настолько уставал. Вся его необычайная энергия была направлена только на создание спектаклей, только на театр и больше ни на что. Он ни на что вообще не отвлекался.

— Отношения между людьми никогда не бывают равными, тем более, наверное, между такими, как Эфрос и вы (что уж греха таить — вы не подарочек! ). Как вы обходили все эти айсберги и подводные камни?

— Эфрос никогда никого не держал на расстоянии вытянутой руки, но, уважая его огромный талант, все невольно соблюдали эту дистанцию. И несмотря на то что меня могли назвать его правой рукой, я никогда не позволял себе ничего панибратского. Перешагнуть этот великий авторитет было невозможно. Даже если у нас случались конфликты, все тут же вставало на свои места: Эфрос — Эфрос, Дуров — Дуров. Дуров рядом, он помощник, он опора. И мы опять продолжали работать так же, как и работали. Чтобы что-то повлияло на наши взаимоотношения — какая чушь! Хотя, когда начинают рассказывать сказки об Эфросе как об ангеле, не соглашаюсь: он во многом был очень жестким человеком и часто выяснять с ним отношения было просто нельзя. Относительно выяснения отношений у нас существовал особый ритуал. Иногда он мне говорил: «Левка, пойдём поговорим». Мы садились друг напротив друга и начинали разбираться — он сам

предлагал такой вариант. Эфрос мог сказать: «Левка, ну че ты стал такой жесткий?» На что я отвечал: «Анатолий Васильевич, а че вы стали такой жестокий?» — «Я жестокий?» — «А я жесткий?» И так мы с ним что-то проясняли. Но речь-то шла не только об отношениях между нами, но и об обстановке в труппе, о ее настроении — почему оно меняется в худшую или в лучшую сторону. Вот такой был ритуал. И когда одна актриса, встретив его в коридоре, по какому-то поводу сказала: «Анатолий Васильевич! Вот эта та самая справедливость, о которой вы все время говорите...», Эфрос ответил: «Пойдемте поговорим». И пока он с ней разговаривал, она два раза теряла сознание! Эфрос дожидался, когда она придет в себя, и снова продолжал ей объяснять, что такое хорошо, что такое плохо и что такое театр. Однажды я видел одного актера, который шел от Эфроса, держась за стенки. Я спросил: «Выясняли отношения с Анатолием Васильевичем?» — «Да. Вот получил...» — ответил он.

— Тема театра продолжает присутствовать в нашем разговоре. Давайте поговорим о Льве Дурове как о театральном режиссере. Сколько спектаклей вы поставили?

— Режиссурой я стал заниматься очень давно. И Анатолий Васильевич Эфрос считал, что у меня на это есть основания. На одном из его спектаклей я был его ассистентом, а потом стал режиссером. Есть два спектакля — «Каждому — свое» и «Снятый и назначенный», где на афишах написано: «Постановка Эфроса-Дурова». Я даже сам не так давно вспомнил, что в тех легендарных «Трех сестрах», оказывается, я был режиссером. Мы с Эфросом проработали вместе двадцать семь лет. И почти не было такого спектакля, который он сделал бы без меня. В Детском театре у нас был замечательный спектакль «Друг мой, Колька! ... Эфрос обычно поручал мне: „Ну-ка, давай придумай

начало и финал“. Я придумывал, договаривался с молодыми актерами (а тогда все были очень молодыми), репетировал, потом звал Анатолия Васильевича, показывал, и он с маленькими поправочками почти все оставлял, но самое смешное, что когда я был ассистентом и режиссером или даже сопостановщиком, то все было нормально. А как только я стал самостоятельно ставить спектакли, самым строгим оппонентом по режиссуре стал Анатолий Васильевич Эфрос. Мой первый самостоятельный спектакль «Занавески» почему-то Анатолию Васильевичу не понравился, хотя, поверьте мне, спектакль был неплохой и шел в течение десяти лет.

— Какой спектакль является для вас самым дорогим, памятным, переломным?

— Сразу определить трудно. Конечно, мне всегда будет памятен мой первый самостоятельный спектакль «Занавески» по пьесе Миши Ворфоломеева. Однажды у нас в театре появился какой-то странный парень — белокурый, с пшеничными усами, наивными голубыми глазами и пьесой в руках. Я прочитал ее и моментально понял, что это нужно обязательно поставить. «Занавески», пожалуй, самая первая правдивая пьеса о деревне. Там не было «Кубанских казаков» — не было приукрашивания. То есть показывалась настоящая тяжелая жизнь деревни, где и пьянство, и насилие, и самоубийство. Я сразу взялся за эту пьесу. Можно сказать, это была первая правдивая пьеса о деревне.

— Вы сами играли в этом спектакле?

— Да, я играл конюха Кузьму, главную роль. Он думал, что коней отдаст куда-то на пастбище, а оказалось, что их просто сводили на бойню... Зал буквально рыдал, а это не так просто — заставить рыдать людей. Помню, на худсовете после этого спектакля я сказал Эфросу: «При всем моем уважении к вам, — а я вас считаю гениальным режиссером, — но

попадись мне сейчас в руки пьеса под названием „Занавески“, я бы ее взял, и я бы эту пьесу поставил, и поставил так же, как поставил! „ Были у меня потом большие неприятности. Спектакль официально хотели снять — дирекцию заставляли, чтобы она сняла. А я, когда однажды услышал, как за моей спиной чиновники „нажимали“ на директора: „Вы все-таки до сих пор не спустили этот спектакль на тормозах! „, развернулся и давай на них орать: „На тормозах вас всех надо спустить! И как можно глубже и подальше! Спектакли на тормозах не спускаются. Хотите запретить — запрещайте! Давайте любой приказ! „ А они приказов боялись давать, потому что это документ, а чиновники по природе трусливы. И они придумали такую формулу: „тихо спустить на тормозах“. Я устал разговаривать с ними и бороться. А спектакль шел и шел. И однажды мне передали, что внизу меня ждет какой-то человек, по виду чиновник. Я сказал: «Не пойду. Не хочу и не буду я ни с кем разговаривать. Пускай присылает приказ». А мне: «Да нет, он просит, чтобы вы спустились». Внизу стоял симпатичный такой человек небольшого роста в сопровождении какой-то компании. Он сказал: «Дуров, а знаете что? Мне спектакль очень понравился. Конечно, вы сыпете соль на раны. Сыпете, сыпете, не спорьте... Я плакал. Вот, видите — жена стоит рядом зареванная. Тяжелый спектакль, но очень хороший. У вас ведь из-за спектакля неприятности? Не знаю, могут ли мои слова повлиять на что-то, но я постараюсь доложить...» И ушел. И все кончилось. И спектакль шел десять лет. Потом я узнал, что это был помощник Брежнева Александров. Его окружение, видимо, «создало мнение», что спектакль «нравится», и чиновники испугались, решили с Александровым не связываться. В таком повороте дел, конечно, ничего хорошего нет. Ведь в те времена от самодурства того

или иного чиновника могла зависеть и зависела судьба не только спектакля, но и театра.

— Вы в своей жизни встречались со многими замечательными людьми: это и Эфрос, и Рихтер, и академик Петр Капица, и Юрий Никулин и многие-многие другие. Какой след оставили в вас эти люди?

— Каждый человек незаменим. Это Сталин придумал, что незаменимых людей нет. Но есть личности уникальные — это люди, которые обладают такими качествами, какими другие не обладают. В детстве они могут быть обыкновенными детьми. А когда вырастают, становятся явлением: один — таким явлением, как Никулин, другой — как Капица, как Калашников, Чкалов. Или тот же Стаханов. Как бы мы сейчас ни переоценивали те подвиги, но тем не менее кто-то же начинал что-то, и если это даже был организованный подвиг, то все равно этот человек смог сделать то, чего другие люди не могли. И так было в каждой профессии. И в спорте. Вот был Яшин. Играл Третьяк. Когда играл Яшин, все же понимали, что в воротах стоит личность, а не просто хорошо прыгающий и цапающий мяч спортсмен. Ведь на него же ориентировались во время игры. Он как бы дирижировал игрой. Так же как и Третьяк. Это есть нечто большее, чем просто вратарь, это еще что-то.

Ну, если я что-то умею на сцене и на экране — а я что-то умею, — то всем этим, конечно, обязан Эфросу, потому что он мой Учитель. Учителей у меня было много. Был Серпинский Сергей Владимирович, который вел театральную студию в Доме пионеров. Потом были Сергей Капитонович Блинников и Герасимов, руководители моего курса в Школе-студии МХАТ. Но это все как бы учителя начальной школы. А вот потом начинается университет. И тут, конечно же, это Эфрос. Но тем не менее и все, кто с ним работал — его ученики, это бесспорно. До сих пор все, кто работал с Эфросом,

именно благодаря ему делают то, чего многие актеры не умеют — так называемый психологический разбор, психологическое проживание роли. Это была великая школа Эфроса...

Старик Петр Капица... Мы приехали к нему за подписью — чтобы он подписал обращение в защиту Эфроса. Что делает Капица? Он хватает эту бумагу, смотрит и говорит: «Ой, кто тут подписал! Юрка Завадский! Ах ты, какой боец! .. Галка Уланова тут же! Ишь ты, какая храбрая баба! „ Посмотрел все подписи и говорит: «Да от меня тут уже почти ничего не зависит, но, конечно, я подпишу“. И тут же это сделал... Я действительно был знаком со многими замечательными людьми. Отразились ли на мне встречи с ними? Конечно. Я думал: «О, господи! Как мы бескультурны! Как мы дурно воспитаны! Как мы плохо образованы! Какая у них эрудиция, как они во всем разбираются! « Капица от своих научных дел тут же бросается в живопись, в искусство. Тут же рассказывает, как он зашел к Рихтеру, а у Рихтера на квартире была в то время еще подпольная выставка абстрактного искусства — и рассказывает об этом с упоением.

Встреча с Рихтером... Как может не отложиться что-то в твоей душе? Встречаю я как-то Святослава Теофиловича во дворе театра на Малой Бронной (его подъезд прямо напротив служебного входа нашего театра). Идет снег. Рихтер говорит: «Здравствуйте, Лев Константинович! „ — и снимает передо мной шапку. И на его огромный лысый череп, на этот его невероятный лоб падает снег. Я, конечно, тут же сдергиваю с себя, трясясь, шапку — не я первый снял, а он первый! Мы стоим с ним, разговариваем. Наконец я не выдерживаю: „Святослав Теофилович, вы, наверное, не замечаете, что идет снег. Наденьте, пожалуйста, шапку“. Рихтер отвечает: «Нет, что вы! Я вас слишком уважаю“. Конечно, я постарался поскорее закончить беседу, и мы

расстались. Иду и думаю: вот что такое настоящий интеллигент! Ему же все равно, кто перед ним стоит. Кто-то с ним поздоровался — и он моментально тебе отвечает человеческим достоинством, он тебя уважает и общается с тобой как с абсолютно равным. И если бы кто-нибудь со стороны посмотрел на нас, подумал бы, что разговаривают друзья, два равных друг другу человека. А это же неправда! Стоит гений напротив меня! И так вот себя ведет.

Такая мудрая доброта Никулина... Общась с ним, ты сам невольно становишься, во-первых, остроумнее, а во-вторых, просто добрее, потому что, когда с ним дружишь, быть жлобом, быть грубым и колючим невозможно. Я был с ним дружен в течение многих-многих лет.

— Лев Константинович, как вы считаете, в сегодняшнее время понятие «дружбы» не изменилось, не оскудело? Все-таки дружба — это дар, кому-то это дано, а кому-то...

— Я думаю, что при коммерциализации жизни понятие «дружба», как и многие другие понятия, в какой-то мере девальвируется. Люди начинают считать деньги, а чем человек богаче, тем тщательнее он их считает и тем жаднее становится. Поэтому нередко понятие «дружба» подменяется понятием «собратья по капиталу». Многие из моих друзей, которым удалось разбогатеть, как-то тихо, мирно от меня отошли. Но не потому что стали бояться моих притязаний. Просто теперь эти люди попали в совершенно другой круг — круг людей богатых, в который я не вхожу. И в этом нет ничего страшного. Такова наша жизнь.

— Вопрос тоже больше для дискуссии. Как вы считаете, Лев Константинович, что больше способствует формированию творческой личности — тепличные благоприятные условия или невзгоды и испытания?



— В период голода и разрухи в нашей стране создавались самые великие произведения искусства. Рождались такие художники, как Петров-Водкин. Да масса была талантливых людей! А в период сытый почему-то не рождается ничего. Хотя бывает и наоборот. Поэтому от сытого желудка, мне кажется, вообще ничего не зависит. Вот скажи, нужно ли богатство настоящему эстраднему музыканту? Ну, предположим, Дюку Эллингтону?

— Нужны необходимые условия, хотя бы самые элементарные. А не богатство.

— Конечно. Чтобы его ничто не отвлекало от главного, чтобы он мог содержать оркестр, чтобы у него звучала та музыка, которую он хочет. Ведь что Эллингтону было нужно? Может быть, за день пожрать один раз. А его саксофонисту Гонзалесу нужно было выпить в день, может быть, литр спиртного. И когда Гонзалес, самый знаменитый саксофонист, умер, не думаю, что у него был дворец. Этот музыкант при жизни и не мечтал о дворцах, потому как он в них не нуждался. Я считаю, что благополучие и сытость творчество не определяют. Как-то один артист в полемике заявил: «Когда нам будут делать хорошую колбасу, тогда мы будем ставить хорошие спектакли! « Нет, это глупость. Тонна хорошей колбасы в день тебе вгрызло не позволит поставить хороший спектакль. Если без колбасы не можешь его поставить, значит, ты бездарность. Конечно, человек не должен отвлекаться от своего дела. Музыкант не должен думать, как он зарабатывает себе на кусок хлеба и как будет носиться по магазинам. Музыкант должен думать о том, как написать прекрасную музыку, как ее замечательно сыграть или спеть. Так и артист драматический. Не нужно ему богатеть. Ему нужно не думать о том, что ему жрать завтра. Об этом вообще не должен думать ни один нормальный человек. А нас в течение многих лет

держали в постоянной тревоге: сведем ли мы завтра концы с концами? Я и сейчас иногда размышляю: а вот если заболею, то на что буду покупать лекарства?

— Неужели такая проблема и по сегодняшний день для вас существует?

— Конечно, Толя! Если я каждый месяц две тысячи (и больше) трачу на лекарства, то должен думать, где эти две тысячи взять. Но я же не возлагаю свои трудности на государство, не прошу у него подачки, не объявляю себя инвалидом. У меня нет никаких привилегий. А даже если они, может быть, и есть, то никогда в жизни ими не пользуюсь. Что, я пойду и скажу: «Снимите мне половину квартплаты, потому что я ветеран труда?» Да никогда этого не сделаю.

Жизнь вообще не бывает ровной. Не бывает в ней равенства и братства, ерунда это. Да, одни живут богато. И они имеют право так жить, если их деньги заработаны честным трудом. И пусть строят себе большие роскошные дома. Но когда дом строится на деньги краденые, то жить в нем будет не очень уютно: у людей появится страх, что придут какие-нибудь большевики. Помню, напугал я одного артиста — заехал за ним на съемку, увидел его хоромы и сказал: «Это где ж ты столько денег взял? Вот придут большевики!» Так он весь позеленел! А теперь, когда я его встречаю, говорю: «Ну что? Прокурор еще не приезжал? Ах, да! Я же еще не успел ему написать!»

— Лев Константинович, как-то у вас на даче я читал одно интервью трех-четырёхлетней давности, где вы сказали: «Фиг они получают моего Ванечку в армию! Не могу я им отдать своего Ваню!» Недавно я спросил у Вани, хочет ли он пойти в армию. Он мне ответил: „Да, я очень хочу и обязательно пойду“. Я говорю: „А дед тебя отпустит?“ Он вздохнул: «Ну, не знаю. Но я очень хочу». Какое у вас сейчас к этому отношение?

— Ну, это его право. Он взрослый человек, и это его право решать. И тут я, конечно, не могу повлиять — сказать: «Нет, я тебе запрещаю!» Это глупо, конечно. Но ведь я говорил это не буквально. Когда ведется странная, какая-то не понятно с чего начавшаяся война и гибнут наши дети — вот это ужас! Отдавать ребенка на такую войну просто страшно. Ребенок идет и не понимает, ради чего. Когда была Великая Отечественная война, это ясно: на нас напали, и мы защищали свою родину, невзирая на все выяснения — кто виноват, что виновато, готовились ли мы к войне, не готовились ли. И сколько бы мне лет ни было, я пытался бежать на фронт. Когда мы берем в руки оружие и идем защищать свою Родину, свой дом, свою улицу, своих родных, своих близких, свой народ — это все мне ясно. А когда объявляется какая-то странная война и говорят: помочь Афганистану — это наш интернациональный долг, и все кончается тем, с чего и началось — как там был тот режим, так и остался! Ничего не изменилось, а сколько цинковых гробов. Ради чего?

— Лев Константинович, а вы-то сами в армии служили?

— Нет. Правда, меня забирали в армию — в подводный флот. Тогда надо было семь лет служить. Это значит, я фактически терял свою профессию: семь лет в армии — и артистом ты уже не будешь. И за меня хлопотали многие, давали отсрочку. За меня Михалков-старший хлопотал, его послали...

— Мне кажется, вы были бы народным генералом СССР! (Смеемся.)

Был бы подводником — стал бы адмиралом.

— Почему же вас потом не забрали? Лев Константинович, мне это уже не дает спокойно жить.

— Армия — это же дело такое... Это так же, как арестовывали при товарище Сталине: была разнарядка, приезжали. А меня нет — я в командировке. А потом про

меня могли и забыть, потому что уже вместо меня взяли кого-то другого. Конечно, театр хлопотал. В военкомате лежали письма от театра с просьбой. И когда срок прошел, дали отсрочку. Лешу Баталова, например, просто вытащили из эшелона. Жуков сам подписал ему освобождение от армии. А тот уже в эшелоне сидел бритоголовый. И просто бежал человек по перрону и кричал: «Где Баталов? Где Баталов?..» Он ответил: «Я». Выдернули его из эшелона и сказали: «Ты в запасе». Но у меня все равно есть военная специальность — я военный топограф.

— Это когда ходят и что-то там измеряют?

— Ну почему. Я могу проводить стрельбу из орудий. Я обязан рассчитать расстояние до противника.

— Читатели, может, поверят. Я — нет. Я...

— Хорошо. Давай достанем у военных миномет, поедем на дачу, ты встанешь, я замерю расстояние до тебя, и будет интересно, попаду я в тебя или нет! Думаю, что попаду.

— Если честно, вы на что намекаете? На мой вес?

— Нет, на габариты! По весу не стреляют, стреляют по габаритам.

— Лев Константинович, какими приобретениями нашего времени вы дорожите и что больше всего вас тревожит и огорчает?

— Сейчас есть свобода. Может быть, в какой-то мере она иллюзорная. Но, по крайней мере, как актер я могу играть то, что я хочу, как режиссер я могу ставить то, что я хочу. И никто мне не запретит. Другое дело, что мы демократию часто воспринимаем как вольницу. Поэтому и начинается некий разбой. Вот разрешили — и давай, ребята, вразнос! Можно приватизировать?! А давайте вообще все! И начинают приватизировать люди некомпетентные: они покупают что-то, а потом с этим очень неловко управляют. Также и в искусстве. Ах, теперь все можно?! Давайте, вразнос! Вот отсюда и

порнография, и засилье дурацкого американского кино, которое смотрят по телевизору наши дети и внуки. И в этом виноваты мы сами.

— И что делать нам с вами и всем остальным, кому это не нравится?

— Просто люди должны знать, что при свободе необходима личная ответственность. Если ты руководитель телеканала, то обязан понимать, что не все определяется деньгами. Если наши дети и внуки кроме крови, мордобоя и насилия в течение многих лет ничего не увидят, им покажется, что это и есть норма жизни — вот эта безнаказанность, вот это «я — супермен! „. И литература тоже должна «соображать“, что она оставляет следующему поколению и каким его делает. Есть анекдот про Моисея.

— Так, началось! Поехали.

— Ведет он евреев по пустыне. Наконец, возле какого-то места останавливается и спрашивает: «Вот здесь останетесь?» — «Нет, — говорят. — Мы здесь жить не будем: тут воняет! „ Моисей ведет евреев дальше, а потом снова к ним обращается: „А здесь жить будете?“ — „Нет, — отвечают они. — Тут тоже нехорошо пахнет“. И все опять отправляются в путь. Вот подходят они к новому месту. Моисей говорит: «Ну, смотрите — тут не воняет и не пахнет. Здесь жить будете?“ — «Здесь будем! « — соглашаются они. Так евреи остались без нефти и газа (смеется).

— Лев Константинович, вы верующий человек?

— Понимаешь, смотря что иметь в виду под верой. Просто вот так сказать: «Я верю в Бога» — не могу.

— Как-то мы с вами ехали в театр, и, поровнявшись с храмом Христа Спасителя, вы резко повернулись и сказали: «Никогда не зайду в этот офис». Что это было?

— Это не моя реплика, это реплика внука. Он зашел туда и после этого сказал: «Там все не как в церкви! Там как в офисе — все с сотовыми телефонами...» И

сказал он это потому, что до этого он заходил в церковь в деревне Шеметово и видел там совсем другое. Честно говоря, я был даже внутренне против того, чтобы этот храм восстанавливали. Мне казалось, что разрушенный храм есть разрушенный храм. О нем сохраняется память. А сейчас, глядя на него, постепенно прихожу к мнению, что я все-таки ошибался. Он уже занимает определенное место в Москве. И я думаю, что со временем, когда кончится весь этот официоз вокруг него, когда перестанут к нему подъезжать на чиновничьих машинах с мигалками, он станет храмом намоленным. И я войду в него. Конечно, храм Христа Спасителя не стал таким, каким он когда-то был. В Донском монастыре, например, до сих пор стоят несколько скульптур, заметно отличающихся от других. Наверное, восстанавливать все в точности невозможно. Да, восстановление потребовало огромных затрат — и это было на фоне невыплаченной пенсии, зарплаты, пособий. Но если ко всему подходить с подобной точки зрения, получится, что и картины реставрировать не надо, не надо открывать Третьяковскую галерею — все картины «загоним» иностранцам и построим еще один автомобильный завод! Так что насчет храма я тогда погорячился. Думаю, он будет играть серьезную духовную роль в жизни Москвы. Церковь всегда ставилась как некий ориентир. В деревне она всегда стоит напротив дороги, и человек ее видит уже издалека. Я думаю, это связано с приближением к дому: человек шел на храм, зная, что он идет домой или идет в храм. И сейчас, когда я вижу храм Христа Спасителя, я понимаю, что иду к дому.

— Поговорим еще об одном доме. Лев Константинович, вы помните, когда пришли работать на Малую Бронную?

— В 1967 году.

— Это постоянство, привычка, преданность?

— Постоянство чего?

— Того, что вы до сих пор там работаете.

— Ну как почему? Это мой театр, я там работаю. Да, я играю и в «Школе современной пьесы», и в антрепризе, но театр на Малой Бронной — это мой родной дом с 67-го года. Конечно, приглашали и в другие театры, но мне неинтересно. Чего мне там делать в чужой-то компании?

— Не секрет, что сейчас в театре «Школа современной пьесы» вы работаете больше, чем в родном театре.

— К сожалению, получается именно так.

— Какая разница между этими театрами?

— Театр на Малой Бронной — это все-таки более традиционный театр. Дух Эфроса не может просто улетучиться с его уходом: вот ушел — и все это закончилось. Все равно традиция живет. «Школа современной пьесы» — это экспериментальный театр. Каждый спектакль — это эксперимент очень интересный и непростой. А антреприза, если она хорошая (а я участвую в хорошей антрепризе — «Афинские вечера», с замечательными партнерами, в первую очередь с Ольгой Александровной Аросевой, которая просто прекрасно играет свою роль) и если я за спектакль ручаюсь — за его чистоту, за его успех, то говорю, что работаю в трех театрах.

— Я понимаю, что, называя Эфроса дядей Толей, вы вкладывали в эти слова что-то потрясающе доброе. Я тоже вас иногда зову дядей Левой. Даже не помню, когда я начал вас так называть. Как-то Иосиф Леонидович Райхельгауз мне признался: «Толя, я вам как одессит одесситу скажу, что мы с вами можем посоперничать в любви ко Льву Константиновичу! «

— Ах он кокетка! Как только встречусь с ним, то обязательно поругаюсь. Иосиф Леонидович написал статью, где он отрицает антрепризу. И эта статья так и

заканчивается словами: «Не ходите в антрепризу! « Ах ты, боже мой! А кто у него работал и работает? Чего он выдумывает?! «Театр воспитывает актера! « А сколько актеров воспитал его театр? Сколько актеров воспитал сам Райхельгауз? Да, конечно, у него есть свои ученики. Но у него работает Татьяна Васильева — он воспитал? Стеклова он, что ли, воспитал? Глузского он воспитал?

— Дурова он воспитал?

— Ну, я-то ладно. А Миронову? И перечислять можно еще долго. У Райхельгауза всего пять молодых актеров работают. И я бы не сказал, что они очень хорошо воспитаны. Курят. И не евреи. Единственного еврея, Гольдмана, Райхельгауз выгнал.

— Как вы думаете, что движет молодыми ребятами, которые сейчас приходят работать в театр?

— Я думаю, ими движет то же, что и нами когда-то. То же самое и даже больше, потому что не было тогда понятия «деньги». А сейчас оно существует. Сейчас, чтобы обеспечить себе благополучную жизнь, можно пойти работать в какую-нибудь структуру, заняться бизнесом, можно использовать свое знание иностранных языков и т. д. А те люди, которые все-таки идут работать в театр, знают, что их ожидает безденежье. Но они идут на это. Значит, ими движет то же самое, что и нами, и даже больше.

— Лев Константинович, в театре на Малой Бронной вместе с вами играют ваши ученики, на сцене театра «Школа современной пьесы» — молодые актеры. Наблюдая вас и на сцене, и за кулисами, видишь, как они вас искренне любят и чтут. На чем основывается ваша дружба с молодежью?

— Однажды артист, с которым я работал, очень хороший артист, перейдя в другой театр, на первом же собрании сказал: «А что это у вас за такое панибратское отношение к корифеям?» На что ему ответили: «А мы не понимаем, о чем вы говорите. У нас работает



грандиозный актер Н. Мы называем его „дядя Н“. И у нас с ним товарищеские отношения». На чем основываются отношения с молодежью в театре? Да на полном уважении. Сегодня он только что пришел, а завтра может стать Москвиным. Правда, сейчас не то время, когда можно стать Москвиным. Но завтра он Гамлета сыграет. Я не понимаю, когда в актерах срабатывает фанаберия провинциальных мамуль: «А-а, молодой человек... Ну, как вы тут? Что-то вы...» И вообще не люблю, когда предъявляют претензии. Можно просто поговорить на равных, сказать: мне кажется то-то. Нет, я делаю иногда замечания, они же молодые, они гулкие, громкие. Иногда начинают в гримуборной ржать перед началом спектакля, а мы играем Чехова. Конечно, захожу и говорю: «Ребят, ну окститесь, через полчаса начинаем играть „Чайку“». Соберитесь, нельзя же с этого начинать». Это такие маленькие глупости, так сказать, воспитательного характера. И я могу сделать это очень тактично или резко. Когда там какая-то пошлость, могу просто сказать: «Козел, а тебе не кажется?.. Ты что, обалдел, что ли?! Где ты находишься?! « Могу, потому что бываю резким. Но это опять же единичные случаи.

— Как вам работается на одной сцене с женой Ириной Николаевной, дочерью Катей и зятем Володей Ершовым?

— Когда я прихожу в театр, для меня нет дочки Кати, нет зятя Володи. Так можно только в газете написать. Для меня есть артист Владимир Ершов, есть актриса Екатерина Дурова, есть актриса Ирина Кириченко. И если ты обращал внимание, то на Катю и на Володю я ору и топаю ногами больше, чем на кого бы то ни было. Потому что у меня к ним, своим, гораздо острее претензии. Обычно в семье ведь срываешься на своих, на самых близких. Вот и все, что тут еще говорить? Нормально работается. Главное — я уже

давно об этом сказал, — когда мы живы и работаем в театре, это называется семейственность со знаком «минус», а когда мы подышаем, это называется династия с большим знаком «плюс». Почему никто не спрашивает: «Зачем сын шахтера полез в шахту? Для чего внук шахтера тоже готовится пойти в шахтеры?» Но как только речь заходит об артистах, начинается чертова буза: вот, у него дочка тоже пошла в театр!

— У меня сын учится музыке.

— А потому что он родился в семье музыканта. Он постоянно слышит музыку, слышит разговоры о ней, ориентируется в ее качестве, начиная с гаммы «до-ре-ми» и заканчивая отношением к классике и к музыке современной. То есть он уже сориентировался. Потому что ты не прешь на него, а тихонечко ведешь с женой разговор о том, кто такой Шостакович, кто такой Прокофьев и что такое Сюськин, «На-На» или Соня Мармеладкина. В семье Шостаковича и сын стал известным музыкантом. Сын Дунаевского, Максим, тоже прекрасный композитор и исполнитель. И что тут зазорного? Это же замечательно!

— Лев Константинович, расскажите о своей семье.

— Как ни странно, они очень не любят о себе где-то рассказывать и всегда избегают вмешиваться в мои интервью. Их просят, но они этого делать не любят. И не фотографируются, говорят: «Снимайте деда! При чем тут мы?» Поэтому у нас общих фотографий очень мало. Ирину Николаевну, к примеру, ни в одной телевизионной телепередаче не увидите, она просто избегает их. И интервью она тоже никогда не дает, хотя к ней часто обращаются. Она говорит: «Да при чем тут я? Я жена. Вы с ним разговаривайте, вам же Дуров интересен, а не я». У нас и Катька такая же, и Володя такой же. Володю вообще не втащить ни в одну передачу, ни в одно интервью, разве что только силой. Поэтому и я в рассказе о них буду скуп (смеется). Я

тоже считаю, что это их дело и разговаривать надо с ними, а не со мной. Мы прожили с Ириной Николаевной сорок шесть лет и за это время ни разу не поссорились. Хотя вру — в молодости были две ссоры, которые очень хорошо запомнились. У меня вообще так в жизни складывается, что практически любая неприятность моментально превращается во что-то иное, как правило, в какую-то анекдотическую историю. Когда мы еще учились и я за Ирой только ухаживал, у нас был такой случай. Между нами по какому-то поводу произошла ссора. И вот выхожу я после этого из школы-студии и вдруг вижу: Ира размахивает руками, а перед ней стоит какой-то огромный мужчина — мне даже показалось, что он к ней пристаёт, хватая за руки. И я сразу, не разбирая ничего, подлетел к нему и засадил в челюсть! Его отбросило в сторону, потом он поднялся и с кавказским акцентом возмущенно произнес: «Что такое! Ты что, с ума сошел?! „ (Смеется.) Я ответил: «Да пошел ты! « И вид у меня был такой, что этот мужик быстро-быстро ретировался. А Ира мне говорит: «Ты с ума сошел! Он спрашивал у меня, где находится магазин «Российские вина“, а я ему пыталась объяснить! « Потом мы вместе, дико хохоча, шли по улице и жалели бедного дядю, который ни за что ни про что получил, и про нашу с ней ссору уже не вспоминали (смеется). А другой случай был такой. Мы с Ирой опять поссорились, она села в троллейбус и решила, стоя у дверей, что-то мне высказать. А двери в этот момент захлопнулись! Троллейбус тронулся, и она с прищемленным в дверях лицом все еще продолжала что-то бормотать (смеется)! Люди закричали: «Остановите троллейбус! Женщину прищемили! « Троллейбус остановился, и Ира выпала мне в руки. Потом мы тоже шли по улице и хохотали и с тех пор решили больше не ссориться, потому что все это может обернуться какой-нибудь новой глупостью (смеется)...

Ну, что я могу еще добавить о близких? Я обожаю всех своих родных, своих детей, внуков, они для меня просто самые дорогие люди. Ради них, в общем-то, и живу. Вот я слышу, например, как некоторые говорят: «Дети ко мне еще за помощью обращаются! А ведь они уже взрослые!», и не понимаю. Я всегда удивляюсь и думаю: боже мой, а к кому же еще они должны обращаться? И вообще, ради чего мы живем? Мы же ради своих детей живем, ради своих внуков. И я не представляю себе, как можно эгоистично сидеть и заботиться только о себе и собственном здоровье. Ты знаешь меня — мне вообще ничего не нужно, я что-то себе покупаю только тогда, когда это действительно необходимо. Сам понимаешь, это не жадность, мне на самом деле ничего не нужно, и моим ничего не нужно. Я всегда смеюсь, когда кто-то говорит про свою жену, что вот, мол, она от меня все чего-то требует и требует. Меня поражают причины ссор, которые возникают в других семьях: там что-то делят, тут чего-то друг от друга просят. Я никогда ни от кого ничего не требовал — ни от семьи, ни от друзей. Единственное, чего я боялся со стороны своих друзей, так это предательства. А что касается семьи, то тратить часть своей жизни на какие-то дурацкие разборки очень глупо. Я даже не представляю, что у меня может быть что-то подобное.

— Удивительно, но вот смотришь фильмы 50-х годов — что ни актер, так потрясающий. Сейчас это на вес золота.

— Я как-то кусочек маленький посмотрел, где Симонов играет Петра I. Это ж невозможно спокойно смотреть! Что за глаза! Что за лицо! Что за интонации! Выспренне играет? Да! Но это же такая глыба, такая мощь! Попробуй, переплюнь его — да никто! И слова говорятся шаблонные: «Дети мои! Был строг с вами, но строг не себе во благо, а во благо России!» И никуда не денешься! Вот эти огромные глаза, этот голос, эти

интонации — великое искусство! Кто сейчас так сыграет? Никто. Потому что там было огромное внутреннее содержание. Актер знал, про что он играет.

— Так в чем же дело?

— Театр, как и вообще искусство, развивается параллельно с жизнью. Как только жизнь наша меняется, становится жесткой, так и искусство становится жестким. Телевидение лучше не включай! Включишь — с ходу на тебя удары, взрывы, кровь, выстрелы, мозги! Перед тобой телевизор — возьми и выключи!

— Лев Константинович, давайте не будем экспериментировать.

— Вот, говорят, театр — искусство коллективное. Но как ни странно, сейчас нужно не уступать и сохраняться индивидуально. Если ты когда-то соприкасался с истиной, предавать ее нельзя. Если ты работаешь с другим режиссером, у него своя манера, свой рисунок — работай, как он предлагает, но только помни: нельзя предавать то, во что ты верил и что на самом деле умел делать. Вот сейчас критики безумно хвалят некоторых режиссеров. А я не могу смотреть их спектакли, потому что это бесовщина и разрушение. Ну и куда же мы придем этими шагами, которыми сейчас шлепаем? Искусство не может идти от разрушения. Искусство — это созидание, это рождение в душе человека добрых и высоких чувств. Я думаю, что бесовщина все-таки эти весы не перевесит, потому что борьба дьявола и Бога извечна, и божественное в конечном итоге побеждает. А все попытки заставить искусство служить разрушению и растлению — явление временное, все это уже было, через все это проходили. Так что восторжествует и Достоевский, и Толстой, и Пушкин, и Тургенев, а никак не серия книг «Тяжелый секс», не порнография, потому что это полная чухня и маразм. Насилие восторжествовать не может. Просто был некий

запретный плод, потом его разрешили попробовать, и мы, как всегда, пустились во все тяжкие: хотите — просто обнажу плечо, а хотите — я весь разденусь, причем задом, попой к вам повернусь да еще какой-нибудь звук издам, чтобы уж до края было!

— В кино вы сыграли более ста семидесяти ролей. Где вы уверенней себя чувствуете — в театре или снимаясь в кино?

— Это совершенно разные вещи. Кто-то считает театр вычурным, грубым, высокомерным. Но я бы сказал, что театр — это лаборатория, а кино — это производство. Театр — это три часа тщательно продуманного непрерывного развития действия: ход спектакля, течение каждой роли. А в кино снимаются фрагменты: раз кусочек, два кусочек, три кусочек — секундное, ну в лучшем случае минутное дело. Поэтому киноактеры очень редко работают в театре успешно. И все так называемые кинозвезды — актеры театральные. Начнем перебирать наших киношных актеров, и окажется, что среди них только Тихонов, Мордюкова и еще два-три каких-нибудь имени. Все остальные артисты — театральные: и Джигарханян, и Ефремов, и Борисов, и Доронина, и Козаков, и Табаков, и Леонов.

— Театр готовит?

— Конечно, театр. Хотя и ВГИК тоже готовит. Но опять же скажу, что еще ни один кинорежиссер не поставил в театре замечательного спектакля. А театральные режиссеры с легкостью снимают кино.

— Почему так происходит?

— Школа разная. Там и подход совсем другой, и база отличается.

— В чем разница?

— Сразу определить трудно. Но все-таки кино — это что-то фрагментарное, а театр — это сама жизнь. В театре если поезд тронулся, то он придет на станцию назначения. А в кино — у каждого столба остановка.

— В кино вам нравится работать?

— Конечно. Там можно что-то пробовать. И когда ты уже не боишься камеры, вступаешь в некое содружество с режиссером и все твои предложения этим режиссером принимаются, работать очень интересно. Тем более что уже столько разных ролей сыграл. Даже если я и повторялся, то это было в самых ранних картинах, когда у меня еще не было опыта и когда сами картины не отличались друг от друга — «Доброе утро», «Гость с Кубани», «Песня табунщика» и т.д. Там я постоянно играл разных помощников помощника. Когда еще опыта нет, то делаешь все на энтузиазме, а когда приходит опыт, ты уже не волнуешься. Хотя я камеры никогда не боялся. Некоторые страшно зажимаются, а мне как-то спокойно. В кино я начал сниматься раньше, чем стал работать в театре.

— Какой был первый фильм?

— «Доброе утро». Это 1954 год.

— Как вас туда пригласили?

— Ну, как обычно это бывает? Ходят ассистенты режиссеров, ищут новые лица. Вот и меня позвали на «Мосфильм», сделали фотопробы. Роба им понравилась: молодой курчавый блондин, курносый, с голубыми глазами. И меня утвердили. Я даже не помню, была ли кинопроба. Наверное, все-таки была, потому что в то время и кинопробы и фотопробы делали обязательно.

— Чего сейчас не скажешь. С носом-то что стало, Лев Константинович?

— Да, сейчас это шнобель. Что сделалось с носом? Притяжение земли действует.

— А с волосами?

— А из них постепенно вырастаешь. Я как раз тогда годился на помощника экскаваторщиков, на милиционеров, водителей (смеется).

— Лев Константинович, любимые картины есть?

— Не знаю. Я, в общем-то, в этапные картины не попадал. Пожалуй, могу назвать «Девять дней одного года». Эта картина изменила мою судьбу, потому что я снялся у Михаила Ильича Ромма. Ролька была очень маленькая, но это не имело значения, если ты попал к Ромму: раз снимаешься у такого режиссера, значит, ты артист другой орбиты. И затем все его ученики — Смирнов, Яшин, Добролюбов — сочли своим долгом меня снимать. Потом была еще одна очень интересная картина, которую начинала Шепитько, а заканчивал Элем Климов — «Прощание» (по «Прощанию с Матерью»). Роль мне очень нравилась. К сожалению, зрительского успеха этот фильм почему-то не имел. Хотя картина уж такая русская, такая наша и про нас! И литературная основа прекрасная. И играли все замечательно. Но, очевидно, картина вышла не вовремя — или слишком рано, или, наоборот, с опозданием.

— А «Не бойся, я с тобой»?

— Это сказка для детей и взрослых. Именно такие фильмы и приносят популярность. Я получил кучу писем от молодежи с вопросами о том, как стать храбрым и сильным, как пробить бачок пальцем. Знаешь, сколько народу с переломанными пальцами ходило? Мне просто показывали эти пальцы и говорили: «Вот, Лев Константинович, это из-за вас! Пытался пробить кастрюлю пальцем!»

— Ну, вы, наверное, объясняли, что тыкали одним пальцем, а показывали другой.

Ни в коем случае! Я говорил: «Надо было хорошо учиться, обязательно есть манную кашу и слушаться маму».

— И все-таки, как вы пробивали этот бачок?

— Так я тебе сейчас и раскрою секрет фирмы!

— Да ладно, фирмы! Кино-то давно уже снято!



— Ну как? Делали дырочку, а потом ее заклеивали то ли пластилином, то ли картонкой — точно не помню. И, промахнувшись, действительно можно было сломать палец. Так что приходилось тренироваться.

— Все трюки на лошадях сами исполняли?

— Я занимался конным спортом, когда еще учился в Школе-студии МХАТ. Паркур прыгал. У меня был разряд по конному спорту. Для того чтобы получить первый разряд или стать кандидатом в мастера, нужно было заниматься регулярно. Но времени на это не хватало. Поэтому усваивали основные навыки — как правильно сесть на лошадь, как проехать на ней не боясь, как пустить в галоп, остановить и т.д.

— Ваша инициатива-то была?

— Конный спорт? Да, мы в обществе «Урожай» занимались. Из всей группы только мы втроем остались до конца: Горюнов, Анофриев и я — потому что падали. Вообще с лошадями падали все, и некоторые потом начинали бояться. Это только говорится, что они такие умные и нежные животные! Нет, лошади коварные. Вот ты к ней подходишь, а она уже знает, умеешь ты ездить или нет. Начинаешь затягивать подпруги, лошадь тут же надувает живот, и, когда выезжаешь на манеж — она из себя воздух пш-ш-ш-ш, и ты вместе с седлом башкой вниз о-па! А бывает, наступит тебе на ногу, стоит и спокойно смотрит. Ты орешь, ногу выдернуть не можешь, а лошадь не отпускает! И до тех пор не отпустит, пока конюх не прибежит и пару слов ей не скажет — она уже знает, что после этих слов может последовать удар. Но встречаются и очень умные лошади. Когда я снимался в Румынии, у одного каскадера была маленькая лошадка со всеми повадками собаки. Она ходила за ним неотступно! Например, стоим мы, разговариваем, а лошадь подходит к хозяину и начинает его лбом в спину ударять. Он скажет ей: «Ну, сейчас, сейчас!» А она

опять его бьет. Тогда хозяин вдруг поворачивается, хватая лошадь за уши и вместе с ней валится на землю! И начинают они играть — кувыркаются и в траве, и в пыли! Потом оба встают, отряхиваются. Лошадка очень довольна, что с ней поборолась. А когда хозяин входит в дом (там целый поселок был выстроен из домиков американского типа), лошадь топ-топ-топ-топ по ступенькам и ждет, пока он не выйдет, — вот такие совершенно собачьи повадки. Со своей лошадью хозяин даже разговаривал, и в ответ она обязательно кивала ему головой, будто понимала, о чем ей говорят. А потом этот каскадер погиб. Очень красивый был парень. Случилось это после землетрясения в Бухаресте. Во время спасательных работ он вытащил из-под завалов пятнадцать человек. И когда уже обессиленный возвращался домой, повстречал какую-то пожилую семейную пару. Старик и старушка стояли перед разрушенным семиэтажным зданием и плакали. Он спросил: в чем дело? Они сказали, что жили на пятом этаже и теперь у них там остались какие-то очень важные документы. Каскадер решил им помочь. Но как только он пролез под лестничным маршем и уже пошел по карнизу, стена неожиданно двинулась вперед. Парень упал с высоты пятого этажа, и эта стена накрыла его прямо на глазах у всех прохожих. Потом к нам на премьеру приезжал министр культуры Румынии. Он показал мне газету с портретом в черной рамке. Там было написано, что этот каскадер геройски погиб при исполнении своего долга.

— Лев Константинович, есть люди, для которых работа важнее всего, часто в ущерб самому себе, здоровью, своей семье. Профессия для вас самое главное?

— В ущерб себе? Конечно, но если подумать... Сначала Бог создал человека, а потом человек постепенно приобрел профессию. Он был охотником,

ходил на мамонта, чтобы прокормить семью, да? Потом понемногу приобретал какие-то навыки, изобрел орудия труда, колесо, порох и т.д. И постепенно охотники и кормильцы приобрели какие-то профессии. Я думаю, что первоначально все-таки человек, семья, а профессия — это уже благоприобретенное.

— Я не ожидал, что вы на этот вопрос так ответите.

— А как? Нет, в первую очередь надо быть человеком. Недавно погиб такой великий профессионал, как Святослав Федоров, и мы уже не узнаем, что было для него самым главным — профессия или жизнь, его семья. Ведь он и как человек был безумно интересный, сложный, красивый. Профессия — это то, что в тебе заложено, а потом развивается. И все равно самое главное, наверное, человек, а профессия — это второе. Каждый человек совершенно осознанно проживает свою собственную судьбу. И это не зависит от профессии. Это вообще ни от чего не зависит. Но, конечно, бывают такие моменты, когда ты оцениваешь ситуацию как бы подсознательно, буквально не продумываешь. Это так же, как необдуманый жизненный порыв. Многие подвиги люди совершали именно в таком состоянии. То есть какая-то ситуация — и человек действует необдуманно. Так, наверное, генетически в человеке заложено, он чувствует — не знаю чем — нервами, сердцем. Заезженный пример — Александр Матросов. Ведь он совершает, в конце концов, безграмотный поступок. Солдат, если б он обдумывал этот момент, он бы снял шинель, намотал ее на руку, пополз, сунул бы в амбразуру руку, завернутую в шинель (шинель, как подушка, пулями не пробивается), а потом спокойно бы кинул гранату. Правда же? Но! Он почему-то бросается на этот дот и закрывает амбразуру своей грудью. Видимо, момент опасности для других, момент боя, который необходимо выиграть, и этот огонь оттуда, который может

положить десятки людей, заставил его поступить именно так — пожертвовать собой. Если бы он анализировал, он бы этого не сделал. Конечно, это момент аффекта. Так что, думаю, в жизни часто многие наши поступки спонтанны. Они рождаются мгновенно, в одну секунду. Другое дело, что для этого должна быть определенная подготовка. Если человек кричит: «Помогите! Помогите! „, ты не должен раздумывать: «А сколько баллов шторм? А подплыву я или не подплыву? А смогу я его удержать или не смогу?» Ведь моментально кто-то бросается в воду на крик о помощи, а кто-то стоит и долго думает и смотрит, как спасают другие.

У меня произошел такой случай в Ялте. Был очень сильный шторм — около семи баллов, волны просто невероятно били в пирс. И я услышал крик: «Помогите! „ Я совершенно не задумываясь, в чем был, просто бросился в воду, нахлебался, подплыл к этому человеку. Он уже тонул, был синий совершенно. Я подплыл к нему и сказал: „Только не хватайтесь за меня, а то я вас брошу. Подчиняйтесь мне“. Я взял его за волосы и стал потихонечку подтаскивать в сторону берега. Подплыть было невозможно, потому что волны, уходящие от берега, уносили опять в море. И вот мы с ним стали дрейфовать. Болтаемся-болтаемся, вижу, я выбиваюсь из сил, и понимаю, что мы тонем вдвоем. Я уже стал захлебываться и вдруг услышал как бы звук мотора — подплывал клин профессиональных пловцов (оказывается, рядом находился санаторий Министерства обороны), и мне закричали: „Все, иди к берегу! « Этого человека подхватили, и мы стали выплывать. А у берега были бетонные кубы и на них толстые железные петли. Я понимал, что сейчас меня разобьет об этот пирс, но все же как-то сумел ухватиться за одно кольцо. Не помню, как меня оторвало от него, но я очутился на берегу. Потом, когда

пришел в себя, я стал шарить по карманам. Оказалось, там были все документы, деньги, все размокло... Теперь представь на секунду, если бы я стал анализировать: «А стоит ли прыгать в воду, когда шторм семь баллов? А такой ли уж я пловец, чтобы взять на себя человека и вытащить его из штормовой воды? А ведь у меня в карманах деньги и документы...» И все, кранты тому человеку. А я жив. Тут и получилось, что мой порыв спас и ему жизнь, и мне. Правда, на следующий день я получил даже подарок. Где-то у меня стоит эта маленькая книжечка с надписью: «Моему буквальному спасителю от писателя Н.». Это я почему рассказываю? Не потому, что считаю себя таким храбрым. А потому, что я, видимо, так воспитан, что-то такое получил от папы и мамы, что когда кому-то плохо — да не надо там анализировать и раздумывать, ты сначала сделай, а потом подумаешь. Скажут: «Так это же глупо, неразумно!» Вполне возможно. Вот кто-то поступает разумно — ну, дай бог ему здоровья.

Или была статья, как человек бросился в кипящую воду, спасая детей. Он же знал, куда прыгает — в яму с кипятком! И дети-то не его были! Но он бросился, он же не задумался. Видит — гибнут дети. Все, ему достаточно. И он одного ребенка смог вытащить, а сам погиб. А у него у самого оказалось двое детей.

Поэтому наша жизнь состоит из обдуманной вещей и очень часто из спонтанных поступков, которых мы, слава богу, не успеваем проанализировать и делаем, как будто что-то тебя толкает. А что — не знаю, как это называется.

— Когда вам сейчас предлагают сняться в кино, что берет обычно верх — деньги, популярность или все же интерес к профессии? Приходится ли выбирать между двумя первыми пунктами — деньгами и популярностью?

— Вот только вчера отказался сниматься в картине с очень интересным сценарием и очень хорошей по

сегодняшним дням ролью. И съемочных дней было много — двадцать три, а это значит приличные деньги. Но я отказался, потому что начинаю работать в театре над пьесой «Метеор», которую ставит Житинкин. В театре с материальной точки зрения за это я не получу ничего. В кино получил бы. Тем не менее в данной ситуации я предпочел театр. Хотя можно было договориться: сказать — давайте ставить позже. Но это невозможно, потому что это предательство по отношению к театру, к понятиям «театр» и «актер».

— И все же бывает, что вы соглашаетесь сниматься исключительно ради денег?

— Ну если там сценарий гадкий или роль такая, что ничего, кроме недоумения, вызвать не может, отказываюсь без всяких сомнений. Потому что потом не отмоешься. Это тебе не прокурор, не откупишься.

— Не секрет, что я с вами очень часто...

— Выпиваю!

— Ну да, и выпиваю тоже (смеемся)... Я хотел сказать о том, что довольно часто бывал на мероприятиях, где вы выступали в качестве не актера даже, а юмориста. Буквально через тридцать секунд после того, как вы выходили на сцену, зал просто умирал от смеха! И так все время. Каким же образом вам удастся так управлять настроением зрительного зала?

— Я не знаю, как это происходит. Я никогда не читал со сцены ни Зощенко, ни Альтова, ни Жванецкого. Я просто выхожу и рассказываю публике какие-то дурацкие случаи, которые со мной произошли. Но при этом прекрасно понимаю, что они не бессмысленны, они не просто ради того, чтобы рассмешить. Вот слушаю некоторых наших юмористов и удивляюсь тому, что звучит просто набор глупостей, рассчитанный на то, чтобы люди просто ржали, и больше ничего. Это или бессмыслица полная, или просто довольно примитивная

игра слов. А публика умирает со смеху! Я уверен, что, когда зрители расходятся, на душе у них ничего не остается. А когда рассказываю я, они понимают, что я-то говорю о себе, они понимают, что на следующий день каждый из них может попасть в точно такое же положение. И зрители моментально ко мне приближаются — они становятся моими. Мы сразу превращаемся в родных и близких. Хотя судить о том, как это происходит, все-таки очень трудно. Конечно, кто-то владеет таким баечным жанром, кто-то не владеет. Но говорить о себе какие-то положительные слова просто смешно. Более того, хочу тебе сказать, что перед каждой подобной встречей со зрителями я всегда волнуюсь. И те, кто меня знают, говорят: «Ты что, одурел, что ли? Сейчас выйдешь и увидишь, что будет твориться! „ Но я всегда волнуюсь, потому что не знаю, с чего буду начинать... Конечно, я и на серьезные темы разговариваю. Часто рассказываю о своих друзьях — сколько их ушло из жизни и как невосполнима их потеря. Говорю о Юрии Владимировиче Никулине, о многих-многих других близких мне людях. О себе я не рассказываю никогда. Вернее, рассказываю, но только как о человеке, которого разыграли, которого поставили в идиотское положение и который сам к этому относится с юмором. А когда люди видят, что ты к самым экстремальным ситуациям в своей жизни относишься с юмором, наверное, им становится легче: «Елки-палки! А чего я психовал тогда? Нет, в следующий раз не буду“. И человеку становится смешно. Можно сказать так, своими рассказами я помогаю людям легче воспринимать какие-то жизненные ситуации.

— Но иногда в своих рассказах вы допускаете вымысел, что-то додумываете прямо на ходу.

— Да, конечно. Я просто говорю этим: все ерунда, ребята, жизнь вообще замечательная и смешная. И

когда я рассказываю про бабу Клаву, смерть и юмор — они рядом. И это на самом деле так. Когда хоронили Брежнева, ведь уронили же с грохотом гроб в могилу! И по телевизору был слышен сначала этот грохот, затем орудийный залп и следом — громкое карканье вороны, взлетевшей с верхушки кремлевской звезды. Такое вот завершение похорон. Как умудрились это снять подряд — удивительно! Потом, конечно, все перемонтировали. А эфир-то был прямой. И ведь не придумаешь же. Конечно, умершего человека жалко. Любого человека жалко. Вот он умирает. Похороны. Но иногда даже торжественные похороны превращаются в некий фарс. Ничего не поделаешь, такова жизнь. Был я как-то на похоронах одного режиссера из театра Моссовета. И тот, кто вел гражданскую панихиду, нечаянно оговорился: «Слово предоставляется Ростисламу Пляттовичу Мянуну». Все убежали за могилы и рыдали! А Плятт еле-еле что-то с трудом проговорил. Вот такова жизнь — и смех и слезы всегда рядом.

— А вы смешливый человек?

— Тогда был ужасно смешливый.

— Это произошло в самом начале спектакля. Я по специальной лестнице поднимаюсь на сцену, чтобы начать спектакль с увертюры на барабанах. Вы идете следом за мной с греческой маской в руках. В зале воцаряется тишина. Декорации погружаются в полумрак. Вот я почти уже предстал перед зрителями... Как вдруг сзади слышу ваш шепот: «Не хочешь ли ты получить по своей толстой жопе вот этой греческой мордой?» Что со мной тогда стало — не знает никто, кроме меня! Меня защитил только мой инструмент! Я, конечно, не обиделся, но подумал: ну, дядя Лева, ладно!

— Ну конечно, я не знал, что тебе будет так смешно! .. Расскажу еще один забавный случай. Я видел это в Театре Советской Армии. Не помню, как точно



назывался спектакль, но, по-моему, «Корабли штурмуют бастионы», про адмирала Ушакова. Случилось все во время общественного просмотра. Спектакль начался. Показывается город, где все умирают от холеры. Должен приехать Ушаков, а с ним и Пирогов, чтобы вылечить людей. И вот, одному артисту нужно было бежать с депешей. Но пока он бежал, почему-то решил как-то лихо прыгнуть. И не рассчитал (там же сцена огромная, двухэтажная) — прыгнул на ступеньку, а она вылетела. Актер кувырком докатился до рампы, ударился в нее — раздался звон стекла — и напоследок еще все эти стекла собой передал; сабля его отлетела в одну сторону, депеша — в другую, треуголка — в третью. В довершение всего он встал на колени, распростер руки и сказал всему залу: «Твою мать! „ А потом принялся подбирать то, что уронил при падении. И вот он подбирает саблю, кладет ее под мышку, наклоняется за треуголкой, надевает ее на голову, наклоняется за депешей — и у него сабля падает! Он берет депешу под мышку — падает треуголка! Получился огромный цирковой номер. Вой в зале стоял чудовищный! В конце концов, артист все бросил и, пробормотав: „Да пошли вы все! „, ушел со сцены. Занавес, конечно, тут же закрыли. А когда открыли, за кулисами раздался жалобный воющий голос актера Ситко (играющего губернатора, которому должны были вручить эту депешу): „Я не могу-у-у выйти на сцену! Я не могу-у-у! „ Потому что на сцене в это время лежали два „трупа“ и тряслись от смеха! Естественно, никуда уползти они не могли. Вышел Ситко — у него слезы по лицу — и обратился к залу: „Товарищи, подождите немножко, сейчас мы отсмеемся“. Все хором поржали немножечко, и, наконец, из зала раздался жалобный голос Попова, главного режиссера и постановщика спектакля: «Ну, что, теперь можно?» Ситко сказал: «Можно». И спектакль продолжился (смеемся)... Кстати,

в том же театре была еще одна история. Шел спектакль про Сталинград. Играл там Макаров, знаменитый артист, красавец, он и в кино много снимался. И в финале этого спектакля Макаров лежал и, умирая, говорил: «Перед смертью хочу испить волжской воды». На сцене — огромная массовка. Кто-то убежал и возвращался с каской, полной воды. Макаров пил, произносил слова: «Ну вот, теперь можно и умирать». И умирал. Так вот, однажды, когда, очевидно, в зале никто из официальных лиц не присутствовал (к тому же это был уже финал спектакля, и ничто бы не повлияло на его продолжение), актеры решили Макарова разыграть. Они приносят ему каску. Он берет, и когда подносит ее к лицу, то вдруг на долю секунды замирает, а потом так, не отрываясь, не отрываясь, выпивает все до конца. Затем протягивает каску и, сделав паузу, говорит: «Еще! « На сцене начинается дикое ржание! Все актеры просто поползли! И я понял, в чем дело: они за кулисами влили в каску бутылку водки. А он с этой каской в руке посидел-посидел и сказал; «Нет, не дожидаться. Видно, придется умереть...» Уронил каску и упал в очень красивую позу — уже умершим командиром.

— Лев Константинович, давайте проведем напоследок блицинтервью. Вы 31-го года рождения. И у меня есть тридцать один вопрос.

— Вот пристал! Все, хватит!

— Любимый цвет?

— Серо-зеленый.

— Любимая еда?

— Макароны.

— Любимые цветы?

— Ой-ей-ей-ей-ей-ей... Ромашки, васильки и астры!

— Любимый спиртной напиток?

— Водка.

— Любимое время года?

- Весна.
- Любимая книга?
- Непрочитанная! Это, конечно, не остроумный ответ. Так уже, наверное, кто-нибудь отвечал (смеется). Ну, ладно, давай оставим — «непрочитанная».
- Любимая картина, в которой вы снялись?
- «Прощание».
- Любимая картина, которую вы смотрели как зритель?
- Пожалуй, «Восемь с половиной».
- Любимое домашнее животное?
- Кошка.
- Любимый спектакль, в котором вы играли?
- Спектакль «Брат Алеша».
- Любимый спектакль, который вы смотрели как зритель?
- Много таких. Не может быть любимого, потому что он неродной. Он может только нравится или не нравится. А нравились многие спектакли.
- Любимый актер?
- Смоктуновский.
- Любимая актриса?
- Нет такой.
- Я думал, что скажете: дочка Катя... Любимый зарубежный актер?
- М-м-м... Наверное, все-таки Чаплин.
- Любимая зарубежная актриса?
- Не знаю.
- Что-то вы женщин недолюбливаете. Может быть, актерское ремесло дело не женское?
- Ну, о женщинах всегда очень сложно говорить. Так что оставим.
- Любимая марка машины?
- «Иж»!
- Любимый анекдот?

— На двери квартиры боксера висит табличка:  
«Звонить десять раз» (смеемся).

— Любимая страна?

— Россия.

— Любимый певец?

— Шарль Азнавур.

— Любимая певица?

— Любимая певица?..

— Опять скажете, что такой нет (смеюсь)?

— Действительно нет.

— Что же такое у вас с женщинами происходит?..

Любимое число?

— Шесть.

— Любимый день недели?

— Рабочий.

— Любимый вид спорта?

— Нет особых предпочтений. Но когда играют хорошо, мощно, тогда и спорт становится любимым. Смотришь, как играют в футбол роскошные команды — любимым становится футбол. Смотришь, как замечательно играют в хоккей — любишь хоккей. Смотришь на профессиональных теннисистов — любишь теннис. Когда смотришь, как красиво работают на ринге профессионалы — не убийцы, а боксеры, — в этот момент любимым видом спорта становится бокс.

— Любимая передача на ТВ?

— Ой-ей-ей-ей-ей... Их очень много. Лучшие передачи — это те, в которых я участвовал.

— Любимое занятие?

— Работа.

— Любимый журнал?

— «Мои интервью».

— Любимая птица?

— Воробей.

— А как же голуби?

— Конечно, я люблю голубей (смеется).

— А почему же вы назвали воробья?

— Потому что когда-то совсем маленькую Катю мы повели в зоопарк. И она впервые увидела такое большое количество разнообразных зверей — жирафов, слонов и бог еще знает кого. А когда мы пришли домой и спросили у нее: «Кто тебе из зверей понравился больше всех?», она ответила нам: «Воробей! «

— Любимый город?

— Москва.

— Любимая закуска к спиртным напиткам?

— Селедка.

— Ну, вот и все. А тридцать первого вопроса нет.

— Будем считать, что лучше всего я ответил на 31-й вопрос.

— Лев Константинович, откуда вы на все берете время и силы?

— Откуда энергия — не знаю. Просто я думаю, что так должен жить каждый человек. А я и есть тот «каждый».

— Если у вас появляется свободное время, как вы его любите проводить?

— Я только соберусь отдохнуть, как тут является Павленко! Сует мне диктофон под нос и начинает задавать тридцать один вопрос, из которых самый остроумный только тридцать первый.

— Вы обидчивый человек?

— М-м-м... Да! Но прощающий и отходчивый.

— Знаю!

— А чего тогда спрашиваешь?!